

18+

РОАЛЬД И ФЛОРА



ВИКТОРИЯ БЕЛОМЛИНСКАЯ

Виктория Беломлинская

Роальд и Флора

«Издательские решения»

Беломлинская В.

Роальд и Флора / В. Беломлинская — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-901468-9

**НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН
И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.** Роман частично автобиографический. Он написан
в Ленинграде, в середине семидесятых — начале восьмидесятых. История
ленинградской семьи... Действие начинается в послеблокадном Ленинграде, а
заканчивается в Ленинграде конца семидесятых. Книга содержит нецензурную
брань.

ISBN 978-5-44-901468-9

© Беломлинская В.
© Издательские решения

Содержание

Предисловие-посвящение	6
Возвращение к себе	7
Перевернутый мир	21
«Дай, боженька, дай!»	29
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Роальд и Флора

Виктория Беломлинская

© Виктория Беломлинская, 2017

ISBN 978-5-4490-1468-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие-посвящение

Мама посвятила эту книгу своему отцу —
Израилю Марковичу Анцеловичу.

Он один из главных героев этой книги. Мама мечтала увидеть ее изданной, подарить ему. Но впервые книга вышла в Америке, в издательстве «Эрмитаж» в 1993-м, когда деда уже не было в живых.

Нам с мамой повезло – мы обе встретились с ним, как только родились, и покуда он жил на этой земле – он не переставал нас изумлять и восхищать. Я решила, что в этой книге – будет много его фотографий: и таким, каким его помнила мама, и таким, каким помнила я – седым, но по прежнему прекрасным.

Юлия Беломлинская, составитель и старшая дочь Виктории
Беломлинской.

Все фотографии – из домашнего архива семьи Беломлинских



Израиль Анцелович с дочерьми: Дальмирой и Викторией. Фотография сделана в день его ухода на фронт.

Возвращение к себе

Это было года за полтора до окончания войны. Еще до того, как Флора пошла в первый класс, до того, как ее положили в больницу для дистрофиков, до того, как она отморозила пальцы на руках и ногах, до того, как ее обрили наголо... Так что точно, они тогда только-только вернулись в Ленинград. Ну, разве что чуточку попозднее, мать уже успела немного успокоиться из-за квартиры. Правда, что она недолго по ней убивалась, но уж такой характер у Ады: другим и не снилось, какой она может скандал, какую истерику закатить по всякому пустяку – вот и тут ее больше всего волновало, что Залман – дурак; она, как с вокзала приехали, вошла, страдальческим взором окинула новое их жилье, села на диванные подушки, вместо отсутствующих стульев заботливо сложенных Залманом на полу, закрыла лицо руками и сквозь них простонала: «Какой дурак, господи! Ну, какой дурак! Это надо же...» И пошло и поехало, как она его честила, какие проклятия посылала на его голову, даже в собственной смерти винила, как будто она уже и вправду умерла. И как будто не она все эти годы дрожа дрожала за его жизнь и каждую ночь говорила себе: «Пусть все, что угодно случится, только бы он остался жить!..» Залман, наверное, тоже так о них думал, и что ему было до того, в какой квартире жить – в такой, в сякой, когда главное – война к концу подходит, все живы пока, и он вырвался на какие-то считанные дни с фронта в Ленинград, то есть его командировали с заданием, но он за эти дни все провернул: и вызов им успел сделать, и вот с квартирой решил вопрос. В их довоенной квартире поселился один инженер с Кировского завода и совсем прочно обосновался; мебель вся уже инженерова стояла, от их мебели и следа не осталось; ее, по словам инженера, видно, кололи на дрова прямо на кухне, и немудрено: у кого это в блокаду нашлись бы силы вытащить из квартиры такой громадный дубовый буфет, в теперешние их комнаты его и не внести было бы, правда, стулья, тоже дубовые, еще дедовские, так-таки вытащили – Залман их потом в одном доме видел, даже попросил хозяина встать, перевернул стул и на всякий случай проверил, есть ли клеймо деда. Клеймо было на месте, то самое, каким он, краснодеревщик и обойщик-декоратор Двора Его Императорского величества, метил свои изделия, но какое все это могло иметь значение, смешно даже думать, теперь, когда Залман хорошо знал, что тут люди перенесли, в каком аду выжили. И его дети, слава богу, тоже живы, и жена, и скоро все это кончится, надо только, чтобы они вернулись и ждали его дома. Тогда, он твердо верил, все будет хорошо. Но если с ним все-таки что-нибудь случится – так тем более, в последнюю минуту он должен знать, что у них есть своя крыша над головой. А вот что делать с крышей – тут он немного растерялся: не гнать же человека с уже обжитого им места. Но инженер сам ему выход подсказал: разбомбленную квартиру, в которой он прежде жил, уже успели подлатать, и он мог бы в нее переехать, но тут ему до завода ближе и вообще, и он предложил Залману поменяться. Правда, она коммунальная, три смежных комнаты его, а в четвертой соседка, но зато самый центр: тут и Летний сад, и Марсово поле, и все такое... Мирная жизнь представлялась Залману каким-то сплошным гуляньем по садам и паркам, по друзьям и знакомым, и он очень обрадовался; до войны у него была машина, на которой он развозил по домам гостей, а теперь ее нет, и дети выросли, им полезно будет жить поближе ко всем этим памятникам старины. А что, люди не живут в коммунальных квартирах? Да еще в сто тысяч раз в худших условиях, в одной комнате по пять человек ютятся, а тут три комнаты, да в них и поставить-то нечего. Хорошо, что по ордеру выдали коечто, там стол, диван, кровати две железные и шкаф с зеркалом, жаль только, что когда впопыхах, в последний день вез все это богатство со склада, зеркало по всей диагонали лопнуло, и Залман ужасно расстроился: конечно, теперь Ада будет переживать и бояться, что в доме разбитое зеркало. Что ее что-нибудь другое может огорчить – это ему и в ум не могло прийти, но разбитое зеркало – скверная примета, говорят к покойнику, хотя, впрочем, все это глупости...

Потом они лет пятнадцать жили с этим разбитым зеркалом и всегда думали, что это плохая примета, и боялись, что кто-нибудь умрет, но сменить зеркало так и не собрались, и никто, слава богу, не умер, хотя примета есть примета... А в те первые минуты его обезображенная поверхность как-то особенно зловеще отразила все убожество залмановских благоприобретений.

Непоправимое зло заключали сами комнаты: первую, вытянутую длинным угрюмым коридором, надо было пересечь по диагонали для того, чтобы попасть в следующую, квадратную, но ее тоже приходится пересекать из угла в угол, и за тонкой перегородкой к ней лепится третья – маленький гробик, его видно Залман определил быть детской, потому что сам укрепил под низким, растрескавшимся потолком единственный, сохранившийся из довоенной жизни предмет, умильно возвращенный инженером – парящего амурчика.

С одной стороны рука, часть крылышка и кусок какого-то бронзовато-прозрачного одеяния натурально гипсового вестника любви отбились, но другой половиной своего существа этот инвалид войны был готов еще самоотверженно послужить людям, исступленно простирая в вытянутой детской ручонке непомерную тяжесть электрической лампочки. Первой комнате не хватило абсолютно никакой мебели, не говоря уже о том, что сразу же стало очевидно, бессмысленно эту пустоту отапливать, и ей суждено было на долгие времена остаться неким чистилищем перед входом...

Но самое страшное являла собой кухня. Ее коммунальная заброшенность как бы нашла последнее свое утверждение в навеки вечные разлитой на полу огромной цементной луже – сюда и жажнула бомба, говорят, она провалилась до самого нижнего этажа и так и не взорвалась, но как можно было залатать следы ее падения более безобразным способом, для Ады навсегда осталось излюбленным риторическим вопросом.

Уборная имела особенности, из которых одна была великолепно устойчива, а другую необходимо было устранить, но удалось это сделать не раньше, чем по возвращении Залмана. С одной стороны, ничем не оправданное возвышение, на которое надо взойти, чтобы достигнуть унитаза, обещало какое-то неземное, царское блаженство, но с другой стороны, очевидность отсутствия самого унитаза призвана была обратить эти посулы в прах. Почему-то и Флору и Роальда все время мучила мысль, что содержимое их горшков, выливаемое в раскуроченную дыру посреди возвышения, должно обрушиваться жильцам нижнего этажа прямо на головы, и это приводило их в ужас перед необходимостью естественных отпавлений.

Но словно не желая бить наповал, судьба смягчила картину возвращения семейства Залмана Рикинглаза в будущее без прошлого, предоставив Аде возможность некоторое время чувствовать себя полновластной хозяйкой среди этих излишне обильных символов войны и мира.

И когда громкий плач Флоры («Мамочка, не надо, ой, не ругай папочку...») и вполне мужское сдержанное дрожание подбородка Роальда вывело ее из мистического состояния общения с отсутствующим мужем, она оборвала себя на фразе: «Ну, почему, почему ты такой идиот, почему ты никогда ни о ком не думаешь?!» – и с необъяснимой в ее болезненном щуплом теле энергией принялась налаживать быт.

...Пройдут годы, и все в семье забудут радоваться тому, что одна печка обогревает обе комнаты, большую и маленькую, паровое отопление сделает ее вообще не нужной; и эти примуса, керосинки – каким ужасом покажется готовка на них спустя две недели после того, как на кухне установят газовую плиту, но для Роальда и Флоры нежной памятью хрупкого несказанного детского счастья вечно будут живы те вечера, когда Аде наконец удавалось разжечь сырые дрова; еще немного они побрякнут в печи за уже прикрытой дверцей, постонут, как бы прощаясь с мукой своей мертвой жизни, протяжно гулко взвоят в дымоходе, как будто: у-ух, уташу-у! – и защелкает, затрещит, застрекочет; вдруг как радостно каждый раз, дружно рванет пламя, и уже можно, присев на сучковатое полено, не отрываясь, глядеть в щелку на магическое, никогда не скучное действие огня. Так в глазок волшебной трубочки, калейдоскопа, куп-

ленного Адой за десятку на рынке, смотри до одури, до кружения в голове, но все-таки надо-едает, а на огонь никогда-никогда бы не надоело...

...Тут, словно отступая перед живым огнем, медленно, мучительно замирает электричество. Ада с тоской взирает на лампочку: что ж, опять сидеть без света, а дети радуются и с нетерпением ждут темноты. Еще бы! Сейчас Ада распахнет настежь печную дверцу, внесет в комнату керосинку – с ней все-таки посветлее, а экономить дрова, керосин, – нет, она вообще никогда ничего не могла экономить, не иметь – другое дело, но пока есть – живи, пользуйся и... можно читать!

Они рассаживаются на полешках. Ада, кутаясь в дырявый платок, по-царски устраивается на диванных подушках, берет в руки «Отверженные», минуту-другую спорит с Роальдом о том, начинать главу с начала или продолжать с того места, на котором уснула прошлый раз Флора, и чтение начинается.

«Безнадежно глядела она в этот мрак, где уже не было людей, где хоронились звери, где бродили, быть может, привидения», – читает Ада. Она читает очень хорошо, совсем не так, как Роальд, он просто бубнит, а Ада читает с выражением, с чувством, она никогда ничего не пропускает, но и дети ее никогда не прерывают чтения нетерпеливыми вопросами. Их иступленное воображение помогает им преодолевать невнятность тяжелого порой многословия, вырывая из его пут живую плоть любимых и ненавидимых героев.

И мрак их комнаты, слабо нарушенный светом из печки, мгновенно превращается в тьму наполненного призраками леса, по которому пугливо мечется одинокий несчастный ребенок; еще, еще страница – и печка их уже не та добрая печка, а зловещий очаг, к которому не смеет приблизиться Козетта, и Флора, внезапно побледнев, хотя только что жар из печки так украсил ее румянцем, плотнее сжав коленки, отодвигается от огня. Она мучительно дрожит от холода, обиды и страха, и две соленые струйки уже свободно бегут из растопыренных глаз, даже не искажая лица гримасой плача... И Ада и Флора плачут за чтением просторно, не давясь слезами, но странное дело, Флора, плачет еще только предчувствуя беду, а Ада как раз тогда, когда к ее бедной девочке, конечно же к ее Флоре, внезапно приходит спасение, и незнакомец протягивает отвратительной трактирщице монету в двадцать су... Но хуже всего дело обстоит с Роальдом. Нет, не потому, что он мужчина, но то, что он сейчас чувствует – эта тяжесть сдавливающей грудь, совсем лишает дыхания, эта боль, эта любовь, эта мера сострадания и ненависти – все это просто не может быть выражено слезами! О, Жан Вольжан, скорее неси Козетте куклу! Ада торопится, ведь детям пора спать, они должны уснуть счастливыми... Вот оно, наконец: «Она больше не плакала, не кричала – казалось, она не осмеливалась даже дышать. Кабатчица, Эпонина и Азельма стояли истуканами»... – и Флора не выдерживает больше: она заливается истерическим смехом.

– «Истуканами!» Мамочка, ой, не могу! Вот здорово! «Истуканами!» – хлопает она в ладоши, трясет головой и слезы разлетаются с ее прозрачной переносицы в разные стороны...

В конце концов это место в романе зачитали до дыр, но что могло сделать не новыми, остудить боль, тревогу и радость, рассеянные на тех страницах?! Время, одно только время...

Но вдруг Ада, – нет, Флоре и Роальду никогда этого не понять – только что была с ними, там, и вдруг она уже здесь, в тускло освещенной керосинкой и затухающим огнем в печи комнате, уже раздраженная, что топили с открытой дверцей, и тепло не накопилось, и час уже поздний, – вдруг она крикливо-назойливо: «Спать, спать-спать-спать, ну, быстренько, нечего волыниться, Флора, Роальд, оглохли что ли, ну, быстро-быстро на горшок и спать!» – твердит, противная, до чего же она противная...

Утром Ада встает тяжело. Было бы можно, так и вообще не вставала бы, нет у нее сил, нет желания жить этот день и еще один, и другой, и следующий... Но ничего не поделаешь – надо жить, надо будить детей, кормить, Роальду что-то там про уроки сказать. Флоре – чтоб Рошу слушалась, помогла бы ему комнаты убраться; да вот еще, чтоб с карточками осторожно, когда

за хлебом пойдут, и, надо – ох, вечное «надо», самой отправляться в артель. Если до выхода из дома у нее останется лишняя минутка, она обязательно звонит Леле.

– Лелечка, – здравствуй, дорогая! Ай, что вы говорите, милая, ну что у меня может быть хорошего? Характер хороший – вот и все! Ха-ха-ха! Конечно, гречневая каша, но что делать, вы мне можете не поверить, но я ни одной ночи ни на секунду не смыкаю глаз!.. Ей богу, клянусь здоровьем детей...

Ада самозабвенно клянется и не замечает, как восковой лоб Роальда опускается на самые глаза, полные презрительной злобности. Флора, бездейственно замершая над тарелкой остывшего пшена, тут же повторяет гримасу брата, хотя ее нежное личико совсем не приспособлено для выражения сколько-нибудь сильных чувств, да она и не знает еще, к чему бы они могли относиться. Но в это время Ада кладет трубку и сразу же иступленнонадрывно оглушает флору:

– Ешь! Ешь, я кому говорю! Что ты морду воротишь?! Скажи спасибо, что это есть! Другие и этого не имеют! Темные глаза Флоры вмиг становятся дымчато-прозрачными от набравшей в них влаги, и соль, и горечь детской беззащитности крупно срывается в бездонные россыпи каши.

– Не встанешь из-за стола, пока не съешь! – кричит Ада. – В могилу меня вогнать хотите, в гроб раньше времени. Наплачетесь тогда, наплачетесь!.. – уже сама давясь подступившими рыданиями, испуская хриплое астматическое дыхание, она все-таки напяливает то, что некогда давным-давно имело все основания называться беличьей шубкой, и, глотая вперемешку слезы, кашель, угрозы и мольбы, хлопает входной дверью...

Роальд помогает Флоре залить кашу, сброшенную в уборную, водой, и за это Флора с готовностью делит с ним труды по уборке квартиры. Швабра на длинной палке слишком тяжела для детей, они давно уже изобрели свой метод борьбы с крошками и прочим мусором, ползая на корточках, а то и на коленках по полу, старательно мусоля во рту указательный палец и наклеивая на него всякую грязинку, и только встретившись под столом, они прерывают на время работу – это излюбленное место для самой тайной сокровенной беседы. «Лелечка, дорогая!» – передразнивает мать Роальд, он ничуть не искажает, но гримасничая, подчеркивает только что слышанные интонации: «Ешь! Ешь! Я кому говорю?! Врунья! Врунья! – стучит Роша кулаком по полу. – Притвора несчастная!». Уже готовая было рассмеяться тому, как Роша передразнивает маму, Флора спохватывается, тарачит на брата глаза и говорит:

– Ага, а знаешь, как она орет?! Я прямо дрожу вся! Я не могу, я так ненавижу ее тогда!..

Но Ада, бедная Ада, она тоже не может. Не может больше ни одного дня. Четыре года, господи, этой ночью она подсчитала, тысячу четыреста шестьдесят дней и ночей и сколько еще, неизвестно, одна, и ни минуты покоя, все время в страхе, и сердце разрывается в клочья, и эти дети – они худые и синие, зеленые, как покойники, можно подумать, что она их никогда не кормит; а чем она может их кормить – только тем, что есть, у других дети едят не разбираются, разве человек, у которого нет ребенка, может понять, что такое, когда ему на ноги надеть нечего, Флора, бедняжка, на улицу не может выйти после двух, когда Роша в школу уходит – у них на двоих одни валенки... У Лели нет детей, у нее другие интересы в голове, поразительно, в такое время – любовника завести! Хотя, с другой стороны, можно понять: всю блокаду прожить в Ленинграде – тоже не фунт изюма... Вдвоем им все-таки легче было... Кто знает, может быть Никита, действительно, только благодаря ей выжил. Он бакинец, Адин земляк, с детства дружили, когда-то она его с Лелей познакомила. До войны он от всех скрывал, что у него эпилепсия. Разве он мог бы один все это вынести? А Леля на кого похожа? Ноги, как спички. Смешно, что грудь у нее как была огромная, так и осталась – никуда не делась... Никите было где душу отогреть. Нельзя людей осуждать, слава богу, когда друзья есть: вот ведь Никита ее в свою артель устроил. Ада ловко орудует челноком, ходы у него простые, туда-сюда, нитку пропустишь, петлю накинешь... Кому они только эти сети нужны, кто теперь

рыбу ловит? Наверное, женщины ловят – вот кому нелегко приходится, тоже ведь дети у них... Хорошо, у кого детей нет. Разве Леля поймет, что она может ночь не спать, плакать о том, что у Флоры всю войну ни одной куклы не было, она, наверное, даже играть-то в них не умеет... Нет, Леле этого не понять, с ней так, потрепаться можно, она эгоистка, для себя одной живет; делать ей нечего, в такое время еще и кошку завела – тут голову ломаешь, чем детей накормить, а она с кошкой носится...

– Лелечка, вы с ума сошли! – сказала Ада, когда та в один прекрасный день принесла ее детям крошечного облезлого котенка.

– Мамочка! Ну, мамуленька! Миленькая, ну, родная моя! – уже почти плача, кричала Флора, а Роальд смотрел на нее с такой мольбой, и Леля, подперев в соломинку отощавшими цыплячьими ручками свою пышную грудь, говорила:

– Что вы, Адочка, кошки сейчас на вес золота в Ленинграде. Многие мечтают иметь. Нет, я вам серьезно говорю: я лучше сама не доем, но кошку накормлю! Поверьте мне, мы с Никитой...

– Идите к себе, дети. Забирайте его и нечего... – Ада предусмотрительно отправляет детей в другую комнату: не к чему их присутствие при разговоре взрослых. Но там, у себя, никто не может помешать им замереть и слушать, напряженно ловить каждое слово, понимать и не понимать, одобрять и порицать, пожимать плечами, строить гримасы, беззвучно смеяться, словом, быть полноправными участниками текущей через тонкую перегородку беседы.

– Да что вы говорите, Лелечка!

– Представьте себе. Вы-то, слава богу, знаете, какая я чистюля. Я просто, Адочка, не могу иначе, что бы то ни было, но я должна помыться и постирать – ведь знаете, я все время думала: вдруг упаду, вдруг меня ранит, а у меня белье несвежее! И каждый день я с бидончиком, с чайником, мне же не донести много! Но каждый день я все-таки умудрялась по большое декольте вымыться...

– Боже мой, боже мой, – вздыхает Ада.

– Но поверьте мне, при этом и я и Никита выжили только потому, что ели кошек. Причем это было счастье, мы же не могли их сами ловить, обдирать, но когда нам удавалось купить кошку – это было счастье...

– Какой ужас! Нет, вы шутите, Лелечка!.. Нет, она шутит, тетя Леля шутит, этого не бывает, не может быть, чтобы кошку тушили, жарили, делали из нее котлеты!

Но так, таким голосом не шутят, и мама не смеется, и им совсем не смешно.

Флора крепко вжимает шерстистое дрожащее тельце котенка в ямку под ребрами. Роальд говорит: «Пусти, ты задушишь его!» – и тянет котенка за лапки к себе. Тут-то он и должен был бы подать голос, звучно выразить свое неудовольствие, но, выпустя мягкие еще коготки, то ли в зевке, то ли в безнадежном протесте, он мучительно раззявил роток, бледненько-розовый, как сама нежность, и... не издал ни звука. Потом можно было сколько тебе вздумается складывать его пополам, тянуть из-под кровати за хвост, любя, заставляя страдать как всякое существо, на которое выхлестывается чья-то излишняя неудержимая любовь – но звуков страдания, вслух выраженного неудовольствия никто в семье от него не слышал.

Флора играла с ним, как с куклой, и даже лучше, чем с куклой. Он же живой, податливый, если его положишь на расстеленные тряпочки, он лапки на животе сложит, Флора аккуратно ему хвостик между задних лапок подожмет, запеленает, как ребеночка, и носит его, баюкает, а он и вправду согрется и уснет. Но даже слабого сонного мурлыканья от него не услышишь. «Что за чудеса?» – удивлялись все трое, а потом решили, что котенок немой. Что он и глух к тому же, не было случая увериться – дети его с рук не спускали, сколько ни сердилась на это Ада; весь день Флора с ним носится, а как только Роша придет из школы – с семи часов до самого сна они отбивают его друг у друга. Иногда до слез дело доходит, и Ада должна их мирить.

– Отдай, – говорит, – Флоренька, Гераську Роше, он же завтра с утра уроки должен готовить, потом в школу пойдет, ты еще наиграешься...

Его немота подсказала детям имя, может быть, не слишком удобное для кошки, но глухонемой дворник, большим сердцем полюбивший собачонку, в воображении детей слился со всем животным миром, и в честь этого единения немой котенок получил имя Герасим. Ада не согласна была с детьми в двух пунктах: во-первых, она все-таки не верила в его глухоту и уверяла, что когда они его не тискают и она зовет его не их дурацким именем, а просто «кис-кис-кис», он хоть и молча, но вполне сознательно идет на зов; во-вторых, Ада особенно на этом настаивала, имя Герасим ему не подходит, поскольку он есть не кот, а кошка. Но с чего Ада могла это взять, детям было абсолютно не ясно: если всякая кошка – кошка, но, однако, существуют в мире и Васьки, и Мурки, то не иначе как по произволу людей, и хотя Роша знал о тайнах человеческой плоти несколько больше Флоры, однако Ада умудрилась провести между детьми ту непереступаемую черту стыдливости, что не нарушалась даже в тайных беседах под столом... Тем более ему немислимо было переносить свои знания на все живое, смутно чувствовалось, что это грозит опасностью самых неожиданных открытий и, бессознательно страшась, он прочным бездумием закрывал себе путь к ним. Флору же не обременяли никакие лишние знания, но с первым вздохом природа назначила вполне определенные претензии ее материнскому началу и, если через многие годы, в самый момент рождения, увидя, что произвела на свет девочку, она осенится горестной мыслью, что все только что принятое, было напрасным усилием – это будет не более чем откликом того, давно забытого детского упрямства...

Время текло, все новыми и новыми салютами затмевая в памяти приближение конца зимы, но один случай не даст сбиться, перепутать сроки – тогда, именно в ту зиму перестало меркнуть и умирать электричество. И если в тот вечер Ада и внесла в комнату керосинку, так это уж точно не для света, а должно быть, она пораньше протопила, и печь уже успела остыть. Ада теперь больше бывала дома, ее ленинградская астма, верно, вместе с ней вернулась в родной город, приступы совсем замучили ее и ей разрешили работать надомницей. Не ярко, но все-таки горит лампочка над самодельным, из вощеной бумаги, абажуром. Ада, зябко кутаясь в платок, простирает синевато-бледные постаревшие раньше времени руки над неровным и дрожащим языком огня в керосинке, а рядом припушавшийся Герасим только что вылакал из блюдечка последние капли молока и теперь смотрит на хозяйку протяжно и задумчиво...

Флора стоит на столе, всей головой всунувшись в черный раструб громкоговорителя – только так, и не потому, что ей кто-нибудь мешает, а только воспарив над обыденностью, общается она к таинству очередной радиоинсценировки... Роальд поглощен совсем не мужским делом: натужно сопя и шмыгая носом, он вяжет крючком нескончаемую косичку, но это так, для виду, на самом деле именно сейчас он решает одну из самых кардинальных проблем своей будущей жизни. То, зловеще сжимая челюсти, он скрипит зубами и особенно громко тянет носом, то вяло опустив уголки губ, в один только взгляд вкладывает все свое презрение к неодолимой грубости, обступающей его за пределами отчего дома: он никогда не научится складывать пять пальцев в фигу и, поднеся ее к носу недруга, говорить: «На-кось, выкуси!» Он не полезет в драку из-за булочки, выхваченной из рук под громкий крик всего класса: «Обманули дурака на четыре кулака, всем по ириске, дураку – огрызки!» Нет, он просто научится не бледнеть и уж конечно же не краснеть, когда ему будет грозить опасность, на все оскорбления отвечать взглядом, одним только убийственно презрительным взглядом...

И среди громкозвучной тишины, в которую замкнулись ее дети, Ада тянет монотонно-ласковое:

– Киса, кисынька, ну что... ну что ты молчишь все? Ну, скажи: мяу, мяу-мяу... Ну, смотри, как я говорю: мяу-мя-я-у.

Котенок просительно смотрит на Аду, доверчиво раскрывает розовый роток и будто силится... но не может.

– Ну что, глупенький? Мя-яу, смотри, как я говорю: мяумяу. Роальд, если еще раз шмыгнешь носом, получишь по кумполу. Мяу, кисик, мяу-мяу...

И вдруг Герасим встал, выгнув дугой спину, воинственно задрал кверху усы, глянул на Аду звериным глазом и... издал хрипкое натужное «мяу».

Что тут поднялось! Флора скатилась со стола, а вместе с ней ссыпался пулеметной очередью целый ворох карандашей, и сорвалась под стол фотография Залмана. Роша ринулся, запутался в нитках, нитки за стул – и стул рухнул; но самое страшное: Ада задела платком керосинку, платок сорвался с плеч, она дернула его и керосинка полетела на бок. А лженемого котенка уже и след простыл: то ли испугавшись своей выходки – явного саморазоблачения, то ли проснулся в нем вместе с голосом пугливый нрав зверей, но он еще до всего этого переполюха, а только как мяукнул, так тут же пулей сиганул под диван. А все хохотали, и Ада, поднимая керосинку, притворно ругалась: «Вот паршивец, чуть платок, чуть весь дом из-за него не сожгла, у-у, кухгер тан зац!» – сказала она по-армянски, что означало самое прекрасное у нее настроение, флора смотрела на мать с таким восторгом, с таким обожанием, как на самую настоящую волшебницу: «Мамочка, мусенька, ты же научила его!» А Роша, ползая на коленках и шаря под диваном, выдумывал бог весть что:

– Я знаю, – говорил он, – что шпион, точно, немецкий шпион, он нарочно притворился глухонемым, чтоб все подслушивать...

– Э-э-э, что подслушивать, что ты болтаешь? Просто время такое: и кошки ослабли, и котята рождаются слабыми... – вдруг горестно сказала Ада и пошла на кухню. Она принесла остатки молока и вылила их в блюдечко. Словно почуя нечто большее, чем пустые восторги по поводу обретенного им дара речи, котенок тут же вылез из-под дивана...

Но если котенок не немой, то это имя, оно и в самом деле такое громоздкое, вовсе неудобное, к тому же, может быть, Ада действительно права, надо согласиться с тем, что он кошка, – это даже интереснее: был у них кот Герасим, а теперь пусть будет...

– Пусть будет кошка Му-Му, – сказала Флора. – Нет, дети, – Ада видно почувствовала, что сегодня легко может брать рубеж за рубежом, – чего выдумывать, нечего мудрить. Мурка она – и все тут!..

Это было её природным именем, потому что Мурка тут же подняла мордочку на Аду и тихо благодарно мяукнула...

Удивительный, согретый нежным согласием вечер! И ничто на свете не могло его омрачить. Даже то, что перед самым сном Ада сказала:

– Вот, пожалуйста, Флоре на утро молока нет. Когда животное в доме, его надо кормить, а если нечем кормить, нечего и держать.

Наступила весна... Она открыла перед семейством Залмана Рикинглаза совершенно неожиданные перспективы их новой жизни. Новые вставали проблемы и новые светили радости. Одно всегда вытекает из другого: что поделаешь, если нет на свете такого угрюмства, которое по весне не было бы опровергнуто простым желанием распахнуть окно – ах, ну их, все эти заботы, в конце концов хоть гулять, хоть воздухом дышать может каждый... Но как весной видны заплатки, как выпирает эта жуткая бедность весной! Интересно: война одна на всех, а вот бедность, скитания, все эти ужасы – это кому как достанется. Лелина соседка, к примеру, Прасковья Семеновна, всю войну оправдომихой была. Так подумать только, явилась эта Пашка к Лелечке на день рождения в шелковой ночной рубашке, а на плечах чернобурка, и говорит:

– Ариадна Вагановна, тут сидеть особенно ничего интересного. Пойдемте ко мне лучше, я вам шедевральную вещицу покажу – настоящую картину из Эрмитажа Третьяковской галереи...

Залман перед войной в командировку в Ригу ездил. Детям костюмчики привез, ей сумку, туфли, боже мой, что за человек, ничего не дал взять, выкидывал из чемодана, кричал: «Спасай детей!» А ведь в эвакуации можно было бы на продукты обменять, никакие деньги ничего не стоили, только вещи... Что теперь говорить, пропало и ладно, все равно дети выросли. Теперь что по ордеру дадут, то и будут носить...

По ордеру выдали две пары ботинок – это значило, что теперь дети Залмана Рикинглаза, воюющего уже где-то на Висле, могут в своем родном городе полноправными хозяевами вступить на территорию одного из многочисленных дворов дома номер 27/29 по Моховой улице...

Но как раз их-то двор последний, третий или четвертый по счету, смотря откуда считать, но как ни крути, задний, вовсе мало подходил для гулянья. В нем, если выразиться точнее, даже сидя дома, дышать воздухом как бы не полагалось: в нем полагалось расположиться огромной, всеобъемлющей, безудержно-безграничной помойке. Вот тебе и весна, вот и распахивай окошко навстречу сладковато-приторной вони и огромным, жирным, иссиня-черным мухам. И все-таки пооткрывались одно за другим окна, и было нечто, чем вознаграждалась способность человека сжиться и с этой вонью и с этими мухами: выложена на подоконник подушка, из другого окна покрепче высунулась соседка и, пожалуйста, сиди, беседуй, жизнь наблюдай... Тот прошел, этот вышел, там ссорятся, здесь смеются...

– Вчера, слыхала, нет, у этой, ну... с пятого этажа, вон в том окне, примус как вспыхнет!
Она – орать!

– Не сожглась?

– Да нет. А видала, мужик без двух ног вернулся – что за мужик?..

– Да, гляди, еще твой как вернется...

– Уж хоть как бы вернулся...

– А к этой-то, из двенадцатой квартиры, на побывку приехал, а она его не пускала – вроде изменял он ей!

– Так он же по трубе лез! Ой, смехота была!

– А сегодня, гляди-ко, целуются...

– Это у них что ли музыка? Точно, они и целуются...

Ада тоже высунулась в окно. Она еще не знает своих соседей, но уже здороваются с одной интеллигентной соседкой справа и с одной этажом ниже. Ей бы тоже хотелось поговорить с ними, рассказать, что Залман пишет, про их мужей расспросить... Но неудобно как-то, мало еще знакома. Она просто посидит, посмотрит, послушает, как мальчик поет...

Кажется, это единственный ребенок, кроме Роши и Флоры, в их дворе. Но он что-то никогда не выходит на улицу. Даже в школу, кажется, не ходит; а вроде он Роше ровесник, тоже лет десять ему, а может, больше...

Поет он замечательно, прямо жаворонок! Песни, верно, по радио разучивает, все такие гражданские песни поет: «Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает...» – так прочувственно, прямо за душу берет. Или это: «Раскинулось море широко...» Конечно, как Утесов поет, так никто не споет, но все ж таки ребенок, и голосок у него такой чистый, трогательный. С самого тепла, как он уселся на подоконник, так, кажется, и не сходит с него, и поет, поет, кончит одну песню, другую затянет, и все привыкли – внимания не обращают. Но Ада толк в песне понимает; боже мой, как она пела когда-то! Шутка сказать, ее первый муж, Владимир Иванович, он же ее прямо со сцены в Ленинград увез. Когда это было? НЭП еще был. Владимир Иванович пожилой, солидный был. А она из Баку с опереткой удрала. Дура, конечно, ей такую карьеру прочили! В консерватории, когда прослушали ее, сказали: «Подождите, подрастите, а через годик возьмем – голос замечательный, но надо беречь его...» А она, сумасшедшая, вдруг балетом увлеклась. И пела, нещадно много пела! В Баку нельзя не петь – из каждого окна музыка льется! У них во дворе еврейская семья жила – два инструмента имели: все три дочери учились. Она дружила с самой младшей, с Гутой. Какие они кон-

перты задавали – вся улица сбегалась под их окна. Голос лился свободно, вольно, казалось, ему конца и края не будет!

...Кусочек прошлого приятно обволок Аду и, еще не до конца вынырнув из теплых воспоминаний, она увидела свой новый двор привычным и новых соседок – старыми знакомыми. Горькосладко улыбнувшись, словно намекая на что-то в своем прошлом, она сказала интеллигентной соседке справа:

– Хорошо поет мальчик...

– Да, поет... – ответила та равнодушно, – а скоро и сыграет... в ящик сыграет: мать говорит, до осени не доживет...

– Вера Васильевна, подумайте, – раздался внизу голос другой соседки, – блокаду пережил, а теперь помрет...

– Так сердце ведь... А с вами-то что? – участливо, в меру своих возможностей, спросила еще не отвыкшая наблюдать смерть Вера Васильевна.

Но Ада не могла ей ответить: опершись о подоконник, она испускала хрипкое прерывистое дыхание, лицо ее посинело, под подбородком набухло, вздувалось и опадало; бронхи сжались, с трудом рвущийся сквозь них воздух выдавливал глаза из орбит...

А над двором переливчато звенел голос мальчика: «Если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов, водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров – закаляйся!..» Где-то в середине лета Ада вдруг услышала тишину во дворе:

из окна напротив больше не неслась песня и, как ни странно, почувствовала облегчение...

Время! Оно течет то быстрее, то медленнее, и сколько всего уносит с собой его разнобыстрое течение. Но если бы кто-нибудь сказал Аде, что десять лет назад она совершила ошибку, а потом еще раз повторила ее через три года, ошибку, которую не может исправить время, напротив, только усугубляет – она не поверила бы. В самом деле, откуда она могла знать, какой заведомой несправедливостью ляжет на плечи ее детей милая безобидная фантазия назвать их Роальдом и Флорой. Какой непробиваемой стеной одиночества окружат их чуждые имена, отделят от всего детского мира, какие извлекут из самых глубин еще неустроенных детских душ напрасные и смутные силы сопротивления и гордой неприступности... Большеглазый, большеносый Роальд всем, буквально всем похож на Аду. Он унаследовал от нее даже пропорции – невысокий росточек и крупную массивную голову. Смуглость и иссиня-черные локоны он подобрал вовсе странно, ну, волосы Залмана, а цвет кожи, это, пожалуй... нет, трудно сказать... Ада-то сама шатенка и такая белокожая, какими бывают только рыжие. Ее отец любил повторять: «Мы такие, потому что мы из Карабаха...» А впрочем, тетя Марго, черна лицом, как горное ущелье – может быть, это от нее и досталась мальчику смуглость... Но маленьким он был просто чудесный, такой хорошенький, прохожие на улицах останавливались. И всегда спрашивали, не испанский ли это ребенок... Потом нос его начал расти – ну и что: мальчик чуть покраще черта, уже красавец. Кстати, ей ее нос ничуть не мешал. Правда, она, слава Богу, умела держаться...

Наверное, много значит – уметь держаться. Но при чем тут это, если ты приходишь в первый класс ташкентской школы и тебя зовут Роальдом, а в классе кроме тебя есть еще мальчик по имени Адольф. Пусть кто-нибудь вообразит себе, что такое – быть Адольфом. О чем только думали родители этого несчастного Адика? О чем думали супруги Рикинглаз, давая сыну имя Роальд, хорошо известно. Он родился в 34-м году, когда исследователи полюса были в неменьшем почете, чем почти тридцать лет спустя первые космонавты. В 34-м году исполнилось шесть лет со дня гибели норвежского путешественника Роальда Амундсена. Не пять и не десять, а именно шесть. И именно в его честь был назван Роша – неизвестно только, что бы делали Ада и Залман, не родись у них в тот год сын, как выразили бы они тогда свою признательность этому мужественному человеку... Издевательство над несчастным Адольфом

было, конечно, особенно страшным, но рикошетом оно ранило и Роальда, и его имя стало для него ужасом, поднявшим из нутра первое в жизни желание вернуться. Роша твердо решил при поступлении в новую школу назваться Мишей. Может быть, это и в самом деле спасло бы его ну хотя бы от самого естественного: «Эй, Рожа! – оклика, на который нельзя не откликнуться, но откликаться ужасно. Но странное дело, мистическая власть имени над человеком не допустила обмана – мальчик, не отдавая еще себе отчета в том, почему не может, хотел, но не мог назваться чужим именем. И никогда и нигде потом, хотя мечтал об этом постоянно. Казалось, обман станет тотчас очевидным – ведь он – Роальд, и это не может быть незаметно постороннему взгляду. Маленькая, нарисованная одной только линией, такой неровной, особенно в ножках, изломанной и нежной линией нарисованная Флора, любопытно глядящая на всех раскосыми миндаленками глаз, пострадала, конечно же из-за брата. Раз он Роальд, так, господи, разве же не красиво – Роальд и Флора?! Она могла оказаться Татьяной, Людмилой, Ольгой, но кто сказал, что надо обязательно носить русское имя, если живешь в России, или армянское, если ты армянка? Разве в Армении все носят армянские имена? Да там каждый третий мужчина или Альберт или Эдуард, а женщины – сплошные Джульетты! А сама она – Ариадна! Почему, откуда, с какой звезды упало это имя, волны какого моря докатили его, какое эхо занесло его в горы Карабаха? Впрочем, она родилась в Баку. А имя ее ей всегда нравилось. И когда она познакомилась с Залманом, ей страшно понравилась его фамилия. Что-то такое в ней есть. Когда кто-нибудь удивлялся ее необычности, Ада всегда говорила: «А-а, у нас в семье все фантазеры!» – так будто и фамилия Рикинглаз могла быть плодом их личной фантазии. И все-таки. Ада, почему, когда речь зашла о кошке, ты подумала о том, на какое имя ей будет удобнее откликаться, и почему ты не подумала об этом, давая имена своим детям?..

Обвязав шею счастливицы Мурки веревочкой, они робко, настороженно держась друг за дружку, переступали пределы помойного двора, наперед зная, как труден будет их путь к общей игре. В конце концов, Мурке придется отвыкнуть от барственной привычки дышать свежим воздухом. Неизвестно, правда, так ли, уж много удовольствия получала она от этих неестественных для кошки прогулок на поводке. Однако пока дети не уверились в своем равночленстве всех пяти дворов, пока Люська Большая, толстая, грудастая девочка-подросток, главная хозяйка двора, не явила им своего покровительства, словом, почти до середины лета Мурка сопровождала их в одиноких размеренных прогулках, олицетворяя собой некое общее понятие домашнего животного на поводке. И не только потому, что могла бессовестно удрать, но так выгуливая ее, им легче было за нарочитым вниманием к ее персоне, скрыть яростное любопытство, выказать свою независимость; легче было удержать себя от первого и, может быть, рокового шага в сторону знакомства.

В одну из этих одиноких прогулок и произошло их столкновение с графиней. Собственно, графине скорее всего и не снилось, что она «графиня»: но воображение детей наградило ее этим высоким титулом, и даже потом, когда из дворовых слухов они узнали, что хоть и неизвестно, кем она была до революции, но до войны – определенно маникюршей, прозвище «графиня» осталось, только теперь вместо романтического восторга они вкладывали в него всю меру классовой вражды.

Вообще-то они были вежливые дети. Ада не просто растила их, но и воспитывала. Роальд вынимал руки из карманов, здороваясь со взрослыми, а Флора склоняла стебелек, на котором покачивалась ее головка; они знали, что надо говорить не «здрасьте», а «здравствуйте», что почти в два раза дольше получается. Слова: «извините, пожалуйста», «спасибо большое» обязательно сопровождали вопрос: сколько сейчас времени, задаваемый чаще от скуки, чем от необходимости знать, который час... Они никогда не могли бы нагубить взрослым и, должно быть, взрослые догадывались об этом и еще издали, еще до знакомства начинали любить их. Почему? Разве слегка изогнувши корпус, отведя назад руку, бросить мяч в воздух так высоко, что он на мгновение превращается в черную точку, не труднее, чем научиться

говорить: «спасибо большое», «извините», «будьте добры»?! Конечно, труднее, но взрослые чаще ценят слова больше поступков... Придет время и для Роальда и Флоры счастье оказаться в одной команде с Вадькой Никитиным, играя в лапту, или под покровительством Люськи Большой обдирать колени в темных, загаженных подвалах дома, даже независимо от того, выпало им быть казаками или разбойниками, – будет неоценимо большой удачей, чем услышать похвалу незнакомой тети: «Ах, какие вежливые, какие воспитанные дети!»

Но это потом. А пока ежеминутно урезонивая Мурку, они совершали свои осторожные прогулки в садик. Естественно, если уж выгуливать кошку, так на травку, в садик. Все эти двенадцать палочек, разбиваемых ударом ноги по маленькой, устроенной на кирпиче качалке, все эти штандарты, битки, прятки, тройки и прочие тайные магниты их воображения оставались где-то сбоку, в первом, забулыженном дворе – играть в садике почему-то было не принято, и Роша, Флора и Мурка как бы получили его в полное и безраздельное пользование. Травы в нем, правда, было не густо, не было даже скамеек, стояла одна только наспех сколоченная лавка, но зато был фонтан. Конечно, он не работал, то есть и фонтана-то самого тоже не было, был всего лишь грязный, но определенно мраморный бассейн, в котором когда-то бил фонтан.

Роша с Флорой, утомившись уговаривать Мурку гулять, как люди гуляют, подбирали ее на руки и садились на лавочку. Чтобы заглушить тоскливое чувство одиночества, они особенно оживленно, перебивая друг друга, придумывали разные истории, какие могли бы произойти с ними, будь она прекрасной дамой, а он – бесстрашным рыцарем. Им нравилось думать, что они в старом заброшенном саду, у развалин забытого всеми фонтана, и кружева, перчатки, шляпы с перьями, шпаги, кареты были не последними атрибутами этих фантазий. Должно быть поэтому в один прекрасный день смешная размалеванная старуха, очень прямо, но твердо сидевшая на их лавочке, сразу же, ничего сама об этом не зная, приняла участие в их тихой игре. Заметив ее еще издали, они скроили друг другу гримасы неудовольствия, но разглядев, безоговорочно приняли. Седые волосы старухи были уложены на висках в плоечки, а на затылке подобраны в кукиш, ее испещренное морщинами лицо было так густо напудрено, что казалось совершенно неестественно белым, а щеки покрывал столь же неестественный румянец. Мама тоже, иногда выцарапав из тюбика немного помады, размазывала ее по щекам, но у нее это получалось совсем незаметно, однако дети знали, что щеки можно румянить, но чтоб так – так могла выглядеть только... графиня! Одета она была в прекрасные одежды: ее худые ноги облегалы высокие шнурованные ботинки с тонким носом и изогнутым каблучком, на руках у нее были черные ажурные перчатки; и она каким-то особенным жестом все время оправляла кремовые кружева на груди, извлекая из их пены огромную молочно-белую в золоте брошь. Таща за собой упирающуюся Мурку, Роальд и Флора взахлеб придумывали:

– Тогда, – говорил Роальд, – она была молода и прекрасна. Старый граф часто уезжал на охоту и графиня, скучая, выходила в сад...

– А попугай у нее был? – спрашивала Флора.

– Отстань! Не перебивай! Не было у нее попугая. Хотя, ладно, был: верные слуги несли за ней золотую клетку с попугаем...

– Дети, – сказала «графиня» и поманила их пальцем.

– Здравствуйте, – в один голос, наперед зная, что их сейчас ждет, они вежливо поздоровались.

– Вы что, новые жильцы что ли? Что-то в первый раз вижу...

– Да, мы новые. Но мы и до войны жили в Ленинграде.

Теперь она должны была сказать: «Ах, какие вы хорошие, какие воспитанные!» Но старуха спросила:

– Так вы что же, в каком дворе живете?

– В последнем...

– А-а... А что вы здесь гуляете? Гуляли бы в своем дворе.

Вот так, так! Это было неожиданно. Но взрослым нельзя грубить, и Роальд, плотно сжав носки ботинок и ни в коем случае не кладя руку в карман, обстоятельно объяснил:

– Мама говорит, что в том дворе нельзя гулять, там помойка. Она велела нам в садик ходить.

– Ах, мама! А где ваша мама? – Она сейчас на работе.

– Так, так... А вы в какой же квартире живете?

– В восемьдесят девятой.

– Это по четырнадцатой лестнице?

– Да. А почему вы спрашиваете?

– Потому, мальчик, что я зайду к вашей маме. Мне с ней поговорить надо...

И старуха встала. Но внезапное предчувствие беды охватило детей так сильно, как только дети и старики могут угадывать неотвратимое.

– Но ведь нам же мама сама велела в садик идти! Почему вы... – Нет, девочка, что ты, глупости какие! Я совсем не за тем. Я только зайду спросить, не продаст ли мама вашу кошку...

Если бы она закричала: «Нет, паршивцы, вы не смеете гулять в моем саду!», затопала бы на них ногами, отодрала бы за уши – все это только в страшном сне могло бы присниться, и все-таки не было таким потрясающим кошмаром! Беспреданно дергающая за веревку Мурка в течение всего разговора как бы вообще не была в поле зрения злобной старухи. Прозрачные, обозначенные только черной подводкой глаза и не глядели на нее. И вообще, купить кошку – их кошку! Нет, это невозможно! Это была угроза больше той, перед которой можно отступить, заплакать, проявить слабость. И сдерживая охватившую их дрожь, дети вступили в борьбу. Флора подхватила Мурку на руки, а Роальд, весь напрягшийся, даже приподнявшийся на цыпочки, будто подросток мгновенно, сказал:

– Эта кошка не продается. Пожалуйста, не ходите к нам! Мама не продаст...

– Продаст, продаст. Еще как продаст! Сейчас время голодное. А вас кормить надо – вон какие тощие. Дам ей пару килограмм пшена и, как миленькая продаст...

И старуха уже шла от скамейки, на ходу договаривая: «А надо будет, и маслица дам...» Ужас! Кошмар! Пшено! Маслице! Что делать? «Когда животное в доме, его надо кормить, а если нечем кормить, так незачем и держать!» – вот они эти слова, вот залог неотвратимого предательства Ады! Все кружилось у них в головах. Бешено бились сердца! В четыре руки держали они Мурку, не в силах оторваться от нее. Слезы уже текли по лицу Флоры и, глотая их, она клялась:

– Я никогда не буду есть эту кашу! Я умру лучше! Роша-а! Я ни-ког-да-а-а-...

– Она не продаст. Она не продаст! – твердил Роальд. – Если она это сделает, мы убежим! Вот! Возьмем Мурку и убежим!

– А она без нас...

– А мы, давай, будем прятать ее...

– Нет, она не продаст, Роша. Пойдем домой, может, она пришла уже!

Так бестолково строя всякие планы, каждую минуту твердя: «Она не продаст!», потому что только это вселяло в них силы, Флора и Роальд, уже не решаясь идти дворами, не отрывая рук от прямо-таки озверевшей кошки, на заплетающихся ногах двинулись в черноту длинной арки, соединяющей их двор с садиком. Прежде они боялись ходить этим путем, но сейчас так враждебен показался им весь мир, что пустая тьма извивающейся арки уже не могла их утратить. А перед глазами плыло лицо матери и... странное дело, это лицо было только добрым, оно обещало защиту, но сомнения грызли душу и боролись с призраком доброты...

Нет, Ады еще не было дома. Им было ведено гулять до ее возвращения, а когда она придет – точно неизвестно. Они не могли больше ничего: ни гулять, ни стремиться в другие пределы, ни стоять на месте, ни разговаривать друг с другом. Кошке вконец надоело сидеть

на руках у Флоры и, внюхиваясь в сладковатый запах помойки, она отчаянно мяукала и царапалась.

– Ну, чего, чего ты, дура какая-то, – последними словами честила ее Флора, – сиди, говорят тебе, не понимаешь что ли?

А Роальд, уставясь в одно ему ведомое, беззвучно шевелил губами, сжимая кулаки, ссутулившись, подогнув коленки, выхаживал взад-вперед; и если бы мог увидеть его сейчас Залман, он поразился бы тому, как похож на него его непохожий сын.

Наконец-то Ада, уставшая, раздраженная – это можно было увидеть еще издали, – с трудом таща сумку, полную пряжи для сетей, показалась в проеме между дворами. И тут все, что было пережито детьми, взорвалось, ринулось навстречу ей потоком слез, бессвязных криков, мольбы и ужаса.

– Мамочка! Ты не продашь?

– Милая мамочка, не надо, мы не будем больше!..

– Скажи, ну, скажи, что нет!

– Что-что-что? Что такое? Что вы сделали? – испуганно и еще более раздраженно зачточкала Ада, – сумку возьми, Роальд, не видишь что ли? О, боже мой, что случилось, что? Говорите толком... .

– Мамочка! – и торопливо, перебивая друг друга захлеб, они начали, но с другого конца, далеко от сути. – Она такая противная, вот ты увидишь, она такая противная, такая страшная... .

Ада задыхалась, останавливалась на каждом этаже, и все-таки они добрались до верха, и к этому времени она поняла, в чем дело. Флора и Роальд тоже выдохлись – что-то похожее на апатию было в их наступившей теперь немоте – так преступник, долго отпиравшийся от своей вины, вдруг признается во всем, и вдруг – полное безразличие к приговору... . Ада молча открыла дверь. Устало вошла она в квартиру. Думая о чем-то своем, молча опустилась на табуретку. Глядела куда-то в одну точку и что-то думала. Мурка наконец-то вырвалась от Флоры и девочка, вяло опустив руки, стояла возле матери. И вдруг Ада притянула ее к себе, уткнулась головой в ее маленькую теплоту и заплакала. И слышно было, как плача, она шепчет: – Нет, дети, я не продам вашу кошку, никогда не продам, милые мои, я не продам... .



Виктория Беломлинская и ее мама Ганна Агаронова

Перевернутый мир

Ада, милая Ада, ты помнишь Астрахань? Ну хоть как-нибудь? Хоть смутно? Пусть стерлись в памяти названия улиц да многих имен уже не вспомнить, но лица-то – лица так и стоят перед глазами, да еще эти толпы беженцев на пристани, на вокзальной площади – то ли бедный, то ли шальный табор раскинулся, расточая под открытое небо свой страх, свою скорбь, на земной пыли разложив одеяльца детские, ночные горшки и скудную снедь... Их бездомному множеству какой-то особый трагизм придавала бывшая элегантность одежд – почему-то в большинстве из Польши были беженцы – и рьяная готовность все обменять на все: на хлеб, на ночлег под крышей, на билет куда угодно, только бы отсюда, на помощь врача, на лекарство... Платья, шубы, кастрюли, одеяла, пледы, кольца, браслеты, ночные сорочки...

У Ады ничего не было, и все-таки она умудрилась особняком, сторонкой обойти распластанную под ногами судьбу, двух страшных вещей избежав: дезкамеру, где мужчины и женщины, не стесняясь своей наготы, смывали вшей, и ночлега под открытым небом. В дезкамеру тянулась длинная очередь, медленно, словно специально отпуская людям время потерять стыд – зато каждый попавший в барак получал со своей пропахшей хлоркой скомканной одеждой разрешение на проживание в городе или выезд из него. Заняв очередь, Ада долго кружила вокруг барака, пока не поняла, в какую дверь ей надо протиснуться – в ту именно, откуда выходили помятые, распаренные люди, зажав в руке заветную справку. Когда выпускалась очередная партия, Ада, еще не зная, что будет дальше, нырнула против течения. В ту же секунду поняла, что спасена.

– Тэбэ что нада? Всэ оттуда ыдут, а тэбэ здес нада?! Особэнный, да?! – из-за стола выкатил на нее горячие угли глаз маленький седой армянин.

– Ее узумем кес арчмем... – на полузабытом языке начала Ада и не ошиблась...

– Ээ! зачем только тебя по свету носит?! – ворчал он, выписывая ей справку. – Не могла дома жить, армянского мужа иметь?! Плохо тебе было, да?! Скажи спасибо, что я еще к армянской женщине уважение имею...

– Шноракалем кес, шноракалем кес!.. – раз десять сказала ему Ада, пряча справку в сумочку. Потом, крепко сжав ручки детей, шла она от дома к дому, стучалась, звонила, за всю жизнь так жалостно не молила, как тогда, а получив отказ, шла дальше... Все, кто мог, кто хотел, уже пустили к себе, сами теперь ютились кое-как. В одном доме о два крыльца Аде сказали, что у них полно, а вот у Матрены Харитоновны с месяц как мать померла: «Стучитесь к ней, может пустит...»

Ада с порога учуяла монашечью опрятность и одинокую хозяйскую заботливость. Однако уговорить не смогла.

– Евреев не пушу, – сказала ей пожилая женщина, вся подштопанная, подлатанная, на все пуговики застегнутая, с мягким добрым лицом и жестким голосом.

Аде безумно захотелось остаться здесь и она клялась и божилась, что не еврейка. Но ничего не помогло.

И словно в награду за все невысказанное через столько-то домов, через ту, а потом другую улицу, где-то там, на другом конце города, когда совсем стемнело уже, Ада нашла приют.

И той же ночью ей стало жутко. Хозяйке, странной какой-то, суматошной и безразличной к предложенным деньгам, принадлежали по длинному коммунальному коридору две смежные комнатенки. Она положила Аду с детьми спать на полу в проходной; дети не успели головы до подушек донести, как тут же уснули, а Ада, замученная всем, что было в этом дне и чернело по краям его – и позади и намного вперед – лежала без сна. Последнее письмо Залмана не давало покоя ей: «Адусенька, родная моя, – писал он, – может так случиться, что долго от меня не будет писем. Будь умницей и не тревожься. И главное, береги себя и детей...» Вот

это – «и главное...» – выдавало Залмана с головой. Он лучше ее знает, что главное, а что не главное... Спрашивается, как же она может теперь... Только Ада подошла к тому, что было главным для нее сейчас, когда дети мирно сопели по обе стороны ей в шею, как страшное, облитое лунным светом видение появилось в дверном проеме. Распустив по плечам седые космы, в длинной до полу белой рубахе, стояла на пороге Александра Николаевна. Ее большие, чуть выкаченные глаза неподвижно сияли бесцветными бельмами, а из окостеневшего рта, постепенно нарастая, отлетала безумная угроза:

– Где? Я вас спрашиваю: где, где мой топор? Я их всех зарублю! Где, где топор? Я их всех зарублю!..

Ада хотела крикнуть, но не смогла: онемела, похолодела вся. Сколько секунд или минут – потом не вспомнить было – она ничего не могла: ни голоса подать, ни шелохнуться. Наконец пружина страха вскинула ее, Ада согнулась, разбросала руки – одну на Роальда, другую на Флору – и не своим голосом прохрипела: «Что с вами, вы что, Александра Николаевна, что вы?» Та, словно ударившись о посторонний звук, отшатнулась, какая-то судорога, пронзив ее, вышла уже со спины, расслабленной и нестрашной сразу; потом под ней тяжело заскрипела кровать, и скоро раздался громкий храп с всхлипом и бульканьем. Ада же все лежала, не шевелясь, от напряжения ныли руки и ноги, но никак не могла унять озноба, лежала, вслушиваясь и подгоняя часы до утра. Утром соседка успокаивала Аду: «Да не бойтесь вы, Шурка же тронутая, а топор где ей найти? Мы же его всегда прячем...»

Сама же Александра Николаевна ни про что утром не помнила. Зато, кокетливо приподнимая седую прядь над виском, она без конца показывала Аде какой-то шрам и произносила особым голосом: «Вы видите – это? Он рэ-э-вновал меня! Он стрэ-э-лял в меня!» Конечно, никто в нее не стрелял; но операцию делали: опухоль что ли вырезали, да не помогло ей почти. Было у нее множество странностей – «заскоков», как говорили соседи, а память удерживала только всякие бредни. Она просила Аду называть ее Шурочкой, без конца намекала на что-то роковое-любовное, кокетничала и никак не могла запомнить короткое Адино имя. Наконец, как-то раздражившись, Ада брякнула: «Ариадной меня зовут, Ариадна Вагановна!» И Шурочка мгновенно запомнила: правда, на свой лад.

– Ариадна Вагановна, ну как спалось вам? – как ни в чем не бывало возвышенно спрашивала она, устроив Аде очередную бессонную ночь.

Но Ада жалела ее. Хроническая болезнь Шурочки воспитала в соседях закономерную черствость, лишь отчасти перемежавшуюся состраданием. Они не запрещали детям развлекаться на Шурочкин счет, когда та выходила во двор загонять своих кур. Широко раскинув руки, подпрыгивая, изображая что-то легкое и воздушное, носилась Шурочка по двору, выкрикивая:

– Ко мне! Ко мне, мои птицы! Летите! Летите ко мне под крыло, пташечки!

Наконец в ее расхлестанные руки и в самом деле чудом залетала растрепанная от беготни курица. Шурочка, припрыгивая, пританцовывая, бежала к сарайчику, сажала ее на шест, но никогда не закрывала дверей. Та, естественно, тут же выскакивала. Так могло бы продолжаться вечно. Вся ребятня сбегалась обычно смотреть на этот концерт. Хохотали до упаду, скрючившись, подхватив животы, тут же передразнивая жесты, и всем этим концертом заправлял, дирижировал один особо рьяный до веселья мальчик лет одиннадцати – казалось, ему никогда не хватит времени вдоволь насмеяться, натешиться Шурочкиным актерством. Но Ада сразу заметила: именно он первым, став вдруг помужички серьезным, внезапно обрывал вечернее представление, цыкал на младших и бережно, одну за другой загонял перепуганных, уставших кур на ночлег. Они и жили-то и неслись его заботами... И наступал тихий, дурными предчувствиями напоенный астраханский вечер. В конце длинного коридора при тусклом свете крошечной засиженной мухами лампочки мальчик что-то еще строгал и сколачивал

невообразимое и длинное; пьяный инвалид, прыгая на костыле, жалобно разговаривал со своей туфлей, никак не попадая в нее:

– Пойдем, слышь, опять Дусечка работать посылает, слышь, пойдем, сторожить надо...

Дусечка злобно тьфукала на него: «Тьфу, скотина, ополоумел совсем, ровно Шурка стал...» Кто-то варил калмыцкий чай и угощал им Флору – Аде казалось: из одного упрямства, из желания досадить ей Флора, только что навзрыд рыдавшая над каждой ложкой «гоголя-моголя», теперь с видимым удовольствием прихлебывала мутно-кофейную жидкость с разлитыми по поверхности кружочками топленого сала. Ада сбивала гоголь-моголь в комнате и в комнате кормила им детей, чтобы другие не увидели – этим сокровищем нельзя делиться и нельзя вызывать у других голодную зависть, но разве дети что-нибудь понимают: Флоре нравится сидеть в душной кухне среди мерного гула соседских пересудов и кастрюльного пара... Ада же смотреть не может на этот чай: от одного вида с души воротит... Мать мальчика в большом котле на пять ртов «затируху» из отрубей варит, другая соседка с трудом ломает толстые черные макароны – кто-то в городе дал им прозвание «но пассаран!» и теперь все их так называют, взад-вперед ходит Шурочка; какая-то вялая сегодня, неразговорчивая, только все что-то ищет, заглядывает в углы, и Аде жутко становится от мысли: «А что если...» – но вдруг все выходит из берегов: крик, вопли! Флора роняет чашку из рук и с испугу делает вид, что ревет от ожога, «затируха» из перевернутого котла шипит и взрывается на плите. «Убила! Убила! Вяжите ее!», – схватившись за голову кричит Дуся, но вязать некого: опустив сковородку на ее голову, вяло и не больно вовсе, а только напугав неожиданностью, Шурочка тут же качнулась и прямым нестигаемым телом стукнулась об пол.

Шурочку в больницу забрали. Ада только научилась спокойно спать, как откуда ни возьмись объявилась ее племянница. Пришла, покрутила остреньким носиком и сказала: «Каждый может тетиным слабоумием воспользоваться. Тут у нее не запирается ничего, что хочешь бери! И вообще: чем за такие гроши постояльцев держать, лучше совсем не надо... Передачи, небось, я должна носить, я и распоряжусь! Освободите-ка комнату!»

Ада обиделась, но все-таки попыталась денег добавить, да лишь насилу выговорила недели две сроку. И тут, как назло, скрутил радикулит. По утрам еле сгибалась на матрасе, вскрикивала, пугала детей, видя их испуганные лица, сердилась и прогоняла во двор, кое-как переворачивалась, на четвереньках доползала до стола и, хватаясь за его ножки, наконец распрямлялась... О том, чтобы ходить искать квартиру, речи быть не могло, елееле до кухни дотянется... Потом еще хуже стало – вообще встать не смогла... Лежала, уставясь в потолок, и тихо плакала. Отпущенные на произвол судьбы дети (Аде казалось, теперь навсегда беспризорные, ничьи дети) – Роальд и Флора – могли гоняться по двору сколько вздумается, но страх жал их поближе к матери...

Как-то потом, много лет спустя. Ада думала, что та астраханская жизнь, ни на что не похожая, более всего была похожа на жизнь. Спаянная тесным двором, убогая издавна, она странно насыщалась всеобщим бедствием. Удобренная чувством чужой боли, она давала урожай там, где прежде могла быть только сухая земля равнодушия. Никогда и нигде более не видела Ада, чтобы так чутко следили люди за чужой бедой: «Этой есть письмо, а этой уже с месяц не было...» – и вдруг оказывалось: ничего, что она вроде как не русская, что от нее толкотня лишняя на кухне, что она «ставит себя»... И еще та, которой тоже давно писем не было, как-то держалась, крепилась душой, не давая тем самым и ей, Аде, расхлестать свою душу. Или наоборот. Но отмеченные одной болью, они были чуть-чуть ближе друг к другу, чем другие... Потом в иной, благополучной жизни, Ада все чаще натывалась на людскую остревелость и сама наполнялась пустой злобой, но что поделаешь: беспричинной доброта не живет на свете, а беду нарочно никто звать не будет... Пришли женщины, стояли над ней, скорбно головами качали:

– Помрешь скоро, ой, помрешь... – сказала одна, обстоятельно и печально, – гляди-ка, серость какая по лицу пошла...

– Да уж и то, – вздохнула другая, – только и живешь, пока ноги носят...

– Да нет, – Ада старалась улыбнуться им, – ерунда, никто не умирал от этого... Только вот не помогает мне ничего...

– Бабку Ольгу бы ей... от всех болезней лечение знала... кабы не померла она...

– А может, Мотю позвать?

– Пойдет ли она? А может, и пойдет?! Сама-то она, знаешь, обо всем представление имела: и всякую травку знала, и заговор, и молитву особую... лекарствами никогда не пользовала... У одной ребеночек как народился, так в голос кричать – ни один врач не знал, отчего. А он синюшный весь от крику, вертится весь, изгибается. Родители из себя ученых строят и в амбицию: мы, де, в заговор не верим! Ну а крестная ихняя взяла младенчика и к бабке Ольге... Та как взглянула, так разом и опознала: у него, говорит, родовой волос под кожу пошел. И все! Тут же круто отрубил замешала, и ребеночка в это тестечко обернула. Он, говорит должен сутки в них, в отрубях, быть, а опосля омойте его... И надо же?! Ребеночек еще кричит, родители его на крестную с кулаками, но она характер выдержала! А к ночи он и приумолк – волосто у него выходить начал. Они к бабке Ольге. Пришли с подарками – так она от них ничего не взяла, только что крестная от себя поднесла: кружевную шалечку – ту взяла, помнишь, Дусь, в ней и хоронили ее, в шалечке...

– Да, бабку-то жаль... Счас бы в самый раз... А может, и впрямь Мотю позвать... Она хоть и в аптеке работает, но к матери всегда с уважением была. И тоже богомольная...

Вспоминая потом о своих мытарствах, Ада говорила Залману: «Понимаешь, только простые люди могут так: прийти к больному и вместо того, чтобы подбодрить его, ничего. мол, поправишься, все пройдет, взять и так вот ляпнуть: «Помрешь скоро!» Понимаешь, у простых так принято...

А тогда, слушая, как они судят-рядят, Ада и не заметила прокравшуюся сквозь отчаяние тоненькую надежду на что-то чудесное. Мальчика послали за Мотей.

– Скажи ей, – настаивала мать мальчика, – офицерская жена у Шурки-чокнутой с детьми стоит и теперь скрутило ее...

Конечно, Ада не ожидала, что увидит сейчас ту самую Матрену Харитоновну, что твердила ей сухо, как орехи шелкала: «Евреев не пущу!» и когда ведомая мальчиком («Сюда, тетенька, здесь порожек, не споткнитесь, не споткнитесь вы!») та самая, полноватая, опрятная, с естественным лицом, появилась она на пороге, Ада сразу же вспомнила ее жесткий голос и, напрягшись, мгновенно скопив злость в глазах, хотела крикнуть: «Вон отсюда! Не надо мне!» – рванулась вперед, но страшная боль выстрелила снизу вверх, и Ада не успела ничего сказать.

– Лежи уж ты, – махнула на нее Мотя.

Ей подставили стул, она огляделась, долгим взглядом уставилась на притихших Роальда и Флору, подозвала Флору к себе, провела по ее волосам рукой и спросила:

Так где же твой отец, умница?

На фронте... – Флора оцепенела почему-то.

– Это на каком же фронте он? Не знаешь?

Ни на каком... – совсем глупо ответила Флора и вдруг заплакала.

– Что вы пристали?! Что вам надо от нас? – грубо и невпопад взорвалась Ада.

– Мне, между прочим, ничего от вас не надо, – голос Моти не выразил ни обиды, ни удивления. – Спросила просто...

– Так уж второй месяц как писем им нет, Матрена Харитоновна, – суетливо вступилась соседка.

– А ты не плачь, умница. Утри слезы-то. Вон у вас и без того уже сыро здесь. Что ж с мамой твоей? Тут встал Роальд и твердо, решительно намереваясь никому не уступить право слова, сказал:

– Нашу маму скрутило. У нее серость пошла по лицу. Теперь она скоро умрет, если вы не завернете ее в тестечко... – голос его задрожал, подбородок запрыгал, но он не успел зареветь, только остался в полном недоумении, потому что все вдруг стали смеяться, и Матрена Харитоновна, раскачиваясь на стуле, поддерживала руками живот, и Дуся, трясясь большим телом, и даже мама вперемешку с кашлем и стоном, и громче всех Флора, хотя она-то сама не понимала, чего смеются, ведь Роальд все верно сказал, но вдруг стало так весело, что нельзя было не принять в этом веселье участия... Потом Мотя сказала:

– Ну, вот что, нежное ты мороженое, хворь у тебя плевая, ты зря разнюнилась... Только стряхнуть тебя надо, а у меня сил не станет... Вот если эта стряхнет – и она указала на Дусю.

Через минуту на глазах у изумленных детей здоровая Дуся взгромоздилась на стол, а Мотя, ловко перевернув на живот, подтянула Аду к столу, приподняла и всучила ее ноги Дусе. И вмиг – Ада только успела коротко пронзительно закричать – та как рванет ее на себя, как встряхнет со всей силы, будто хотела из неживого мешка вытряхнуть лишнюю душу! И растерялась тут же. Сама красная от натуги стала, а Аду еще держит вниз головой.

– Ой, ой, – хрипит Ада. – Пусти! Пусти меня, дура! – вырывается, выкручивается, руками вниз тянется, а та как столб стоит. Тут Мотя приняла ее – раз! – и с головы на ноги перевернула. Пока Ада выкручивалась, она и не заметила, что боли-то, молниеносной, лишаящей сознания или даже монотонно-тупой – никакой боли нет! А встала на ноги, в первую секунду тоже ничего не поняла, зато потом присела, согнулась, прошла – ну, слава богу, ничего, надо же, ничего не болит, как рукой сняло!

– Рукой! Рукой – это мать моя умела снять, она бы эдак тебя погладила бы, да пошептала бы – и дело с концом! А я так: попростому, по-народному... Хорошо, что жива осталась, скажи! А то кровь-то в голову – уж я и сама испугалась... А зато смотри теперь, какая красавица!

Ада, разве ты могла забыть это?! Флора, Роальд – они еще крошки были, где им помнить! Они, конечно, забыли все, все до капельки. Флоре осенью сорок второго три года было, а Роше шестой пошел – все равно не помнит ничего, как он насмешил тогда всех, господи... Но тебе, Ада, довелось, пусть даже на одно мгновение, увидеть мир перевернутым – выпало такое счастье увидеть его оттуда, откуда не увидишь нарочно – но все, что в нем есть прекрасного, оттуда только и разглядишь, и разглядев, навсегда, на всякий другой случай унесешь в суетную жизнь каплю святой веры в чудесное...

Мотя взяла их жить к себе. Это было внезапным избавлением от неразрешимой заботы и вместе с тем все, что делала Матрена Харитоновна, дышало такой естественной, непреложной добротой, что Аде и в ум не пришло задуматься, чем объяснить столь странную перемену в ее отношении... В доме Матрены Харитоновны простота и даже чистая бедность ловко сочетались с ощущением напоказ не выставляемого недостатка – это была строгость, допускающая вместе с тем и некоторую меру пышности: вот на некрашенных, но всегда добела отмытых досках, застиранные до бесцветности, аккуратно латанные половики, а вот на стене, над кроватью бабы Ольги настоящий ковер – уж Ада что-нибудь понимает в его неброской красоте и бесспорной ценности; вот две кровати: никелированная, украшенная атласными бантами и бумажными цветами бабы Ольгина – на ней теперь Ада с Роальдом спят, бережно разбирая по вечерам высокую гору подушек, кружевных накидок и покрывала ручного плетения, а вот дубовая кровать с высокими спинками, крытая одним только темно-бордовым верблюжьим одеялом – на ней Матрена Харитоновна спит, под теплый бок себе укладывая Флору; у стены отскребанный сосновый стол, а над ним в серебряном окладе икона – среди белесых трещин темнеет лик, разрезая пространство чертой небывало прямого носа, в опущенных усах

тая крошечную улыбку ущербного рта, но сквозь набухшие подглазья глядя на мир с открытой грустью... Что-то неподдельное, строго следующее своей действительной сути и в каждой вещи было, и в самой хозяйке их.

Они одним котлом зажили. Иногда Матрене Харитоновне за дефицитное лекарство подношения делали, и она, то золотистую воблу принесет – и тогда вечером столько радости: тетя Мотя и Роальду, и даже Флореньке даст по разу стукнуть воблу о край плиты, еще покажет как ее удобнее за хвост держать, а потом сама поколотит-поколотит и снимет размякшую нежную шкурку – самое вкусное, тонкие маслянистые полосочки со спинки отрывает и детям дает, – то вдруг ей кусок колотого сахара подарили, не очень блыпой, но все ж таки – теперь его вовсе не было – так она с ним такую штуку выдумала: подвесила на ниточку под абажур, стол на середину выдвинули, уселись кружком чай пить, сахар на ниточке раскачали и – кому лизнуть достанется. Дети визжат, игре радуются: «Тебе! теперь – тебе!» – кричат и того не замечают, что все почему-то, им, то Роше, то Флоре, достается лизнуть... По вечерам тетя Мотя с мамой чулки штопает или на спицах носки вяжет и Аду учит...

Только одного как-то бессознательно боялась Ада – старательно обходила стороной всякий разговор о Залмане. То есть обойти было невозможно, но Ада старалась не упоминать его имени, так – «наш папка», да и все. Вообще и Матрена Харитоновна из каких-то Аде не известных чувств не выпрашивала, даже будто сама отстранялась от упоминаний о нем, но однажды заглянула через спину в разложенные Адой карты, вгляделась, и вдруг как сметет их в кучу. Ада-то карты раскинет, а значения их толком не знает – так посмотрит-посмотрит и соберет. А тут показалось ей, что Матрена Харитоновна что-то плохое увидела. И правда, та вдруг говорит:

– Покажи мне его, у тебя же, небось, есть его карточка...

Ада хотела было сразу показать, но тут нехорошая мысль мелькнула: Залман такой ужасный, такой невозможный еврей, – не надо лучше...

А та пристала: «Покажи, я помолюсь за него, только я знать его хочу...». Ада схитрить решила: глупо, конечно, но ей хотелось, чтобы Мотя помолилась за Залмана. И она решила: покажу ей ту карточку, где он с детьми, ведь Мотя как к родным к ним, от них, может, и Залману перепадет ее любви...

Но Мотя посмотрела на карточку, покачала головой и вернула ее Аде:

– Не больно-то... – сказала она не понятно про что. – Может, у тебя другая есть?

Правда, Ада и сама не любила эту карточку. На ней Залман снялся с детьми в день, когда войну объявили. Он на дежурстве в ТАССе был. Пришел с ночи. Все уже знали, что война началась, он-то прежде других узнал. И почему-то, уставший, выжатый весь, первое, что сделал – взял детей и пошел с ними в фотографию. Раньше никто из них никогда в фотографиях не снимался – Залман сам мастер этого дела. А тут придумал... Ада на эту карточку смотреть не любит: двумя руками Залман обнял Роальда и флору, они склонили к нему головки, и все трое такие получились нестерпимо грустные, и дети тоже, будто заразились его тоской... Залман еще в гражданской одежде был, через час он военный стал... Нет, нехорошее у него здесь лицо, как у больной птицы... Такая карточка может быть только последней...

Но у Ады другая была. Правда, маленькая. На ней Залман совсем иначе смотрел: среди жидкого леска стоял он, увешанный черт знает чем: аппарат, полевой бинокль, автомат, планшет, кобура на боку – и в позе небрежность какая-то, лихость, удалство. И лицо веселое... только мелко, особенно не разглядишь... Однако Матрене Харитоновне эта понравилась. Она долго разглядывала ее, очки надела, близко к глазам подносила, потом спросила:

– Это где ж он – орлом таким?..

– С Кавказского фронта прислал...

– Прямо с фронта что ли?

И тут Аду осенила смутная догадка, и сразу же она подтвердилась, осев в сердце горечью.

– Признаться тебе, не думала я, – сказала Матрена Харитоновна, для чего-то бережно потерев пальцем карточку и кладя ее на стол. – Не думала я, что он у тебя всамделишный солдат. Так, думала, в тылу сшивается. А что писем тебе нет, так я решила: бросил он тебя. Подобрала, думаю, его какая, что с того, что тебе аттестат шлет – сейчас бабы и без аттестата мужика сграбастают...

Больно и сладко одновременно стиснуло Аде сердце, и какойто стыд и преступная благодарность Залману за то, что он там, где-то, может быть, уже не живой...

Вечером поздно, при потушенной лампе, в свете одной лампы Матрена Харитоновна возносила неслышную молитву, легкая и жаркая, одним шевеленьем губ отлетала она от самого нутра и касалась пронзительного лика, так странно схожего с печальным лицом Залмана...

А еще через несколько дней, уложив детей спать, Ада в ожидании запозднившейся хозяйки вышла на дорогу покурить. Последнее время, несмотря на давний запрет врачей, Ада пристрастилась к пайковому куреву, научилась ловко скручивать газетную бумагу – иногда хозяйка приносила ей из аптеки тонкую, папиросную, но курить дома не разрешала. Попыхивая зажатой меж большим пальцем и указательным «козьею ножкой», Ада глядела в конец пыльной дороги, куда опускалось солнце. Оно казалось кружком раскаленной жести, какой Ада под кастрюльки подкладывает, а потом дорога продвинулась вперед, скинула его, накрыла и, словно кто-то там внизу запалил остальной мир, поднялось над дорожной пылью мрачное зарево. И вдруг всколыхнулась пыль и как будто выброшенная с пожарища щепка, появилась странная колеблющаяся черта. Устремленная ввысь, она колыхалась, потом Ада поняла, что движется, потом ей почудилось, что от нее отрывается крик, еще не понятный и, наконец, догадалась, что это нелепая фигура мальчика на ходулях. Вот она уже хорошо видит его, вот слышит, как он надрывно и звонко кричит: «Тетя, вам письмо с фронта!» – но так ни на что не похожа маленькая детская фигурка, приподнятая над землей, стремительно приближающаяся на длинных негнущихся ногах, что Ада стоит в ослеплении, еще не понимая, что ей надо бежать навстречу. Не в силах сдержать восторга, он вдруг отпустил одну ходулю, качнулся, взмахивая рукой, – в ней мелькнул светлый треугольник – «Тетя! Вам письмо от отца!» – и раз, другой, описав широкий круг, провернулся в ярмарочном танце и снова к ней: «Тетя! Вам письмо с фронта!» Только потом до нее дошло: да ведь так он через весь город пробежал и кричал, еще не видя, не различая ее, но тогда она вообще едва поняла, что все это нелепо-чудесное именно к ней относится и, главное, этот призывно-торжествующий крик ребенка: «Тетя! Вам письмо с фронта!»...



Израиль Маркович Анцелович
«Залман Рикинглаз»

«Дай, боженька, дай!»

Осенью недели две Флора ходила в школу. Ей показалось там сумрачно, напарено, как в бане, нестерпимо шумно и одиноко. Она обрадовалась, когда врачи сняли ее с занятий, признав дистрофиком. Ада суетилась и плакала, а Флора тайно ликовала: надо же такое везенье, и, главное, ей теперь не придется ходить в эту столовую! Школьная столовая наводила на Флору ужас. Она помещалась в подвале, там под низким потолком тускло горели в засиженных мухами плафонах маленькие лампочки, было так грязно и липко, стоял невообразимый гвалт, толкотня – Флора давилась сразу же подкатившимся к горлу тошнотным комом и всетаки тискалась вместе со всеми в очередь за судками. Их кормили по талонам. И мутный остывший чай, похожий на теннисный мячик комок перловки – все, что полагалось получить по талонам, плескалось по дну алюминиевого судка, жирного, пахнущего одним и тем же запахом тухлой рыбы. Слившись с визгом детей и яростными криками взрослых, лягз этих судков, то выскальзывающих из рук, подаваемых ногами, то злобно швыряемых на подносы уборщицами, превращал маленький школьный обед в адское действо. Но ходить в столовую надо было обязательно: учительница пересчитывала их по парам, от раздражения пихая в спины и стучая лбами, Флора боялась ее и не решалась удрать. А на лестнице они вмиг сбивались в панический неразъемлемый клубок, и учительница уже не могла управлять его стремительным движением вниз, и Флоре никогда бы из него не выбраться...

Однако смешно: откуда взялась у нее эта дистрофия – ведь она никогда не голодала, да и вообще уже миновало голодное время, но, должно быть, что-то еще нужно было для роста ее организму, кроме этих школьных обедов и адиных каш...

Ада забегала, засуетилась, ей казалось очень важным положить Флору в больницу обязательно по благу, а только и было от этого блага, что Флору не обрили, когда принимали, еще и восторгались: «Какая чистенькая девочка, какие чистые у нее красивые косы...». Но и без трудов и всякого блага она все равно скорее всего попала бы именно в эту больницу – так немного было уже детей-дистрофиков, что все они – и мальчики, и девочки – лежали в одной палате. Флору учили есть, то морили голодом, то кормили под присмотром нянечек, без конца заставляли писать в баночки и кололи глюкозу. Сначала она умирала от стыда, потом привыкла и чуть было не влюбилась в мальчика. Его койка была рядом с Флориной. Все дети в палате были бритые, только «блатная» Флора красовалась косами и, наверное, ее первая любовь не осталась бы без взаимности, но мальчик по вечерам натягивал на ноги одеяло, махал другим его концом перед носом и говорил: «Фу! Фу! Вонько! Надо проветрить!» – и Флоре становилось противно. С другой стороны лежала девочка Таня – такая толстая, бесформенная, просто груда рыхлого мяса. Даже смотреть на нее было страшно: от самого подбородка начинался живот, казалось, он душит ее, из вялого приоткрытого рта вместе с тяжелым дыханием вырывались пузырьки слюны. Когда после голодовки Флоре приносили блинчики или котлетку, Таня плакала и просила отдать ей. Как правило, нянечка не выдерживала и на блюде откладывала половину с Флориной тарелки. Но Таня студенистыми трясущимися кулаками махала по табуретке, спихивала с нее блюдечко, кричала и плакала еще громче: «Все! Все хочу! Не буду половину!» Она была очень больна. Дети лежали в этой больнице подолгу: кто по три месяца, а кто и по полгода. У них успевали отрасти волосы, но что удивительно – сразу со вшами. Может быть оттого, что их почти не мыли, а только стригли: приходил парикмахер и всех по очереди сажал на стул посреди палаты и сбрасывал отросший ежик. На Флору же он даже не взглянул. И к концу второго месяца она завшивела. Узнав об этом, Ада в пух и прах разругалась со своим хваленым благом и в ужасе, под расписку, схватила ее домой. И как-то не подумала, что отвела Флору в больницу осенью, а сейчас уже зима, и по дороге домой

Флоре досталось еще отморозить пальцы на руках и ногах. Какое-то чудо: уже кончалась война, а Флора в обратном порядке отмеряла на себе все ее ужасы.

В школу в ту зиму она больше не ходила. Да и не гуляла совсем – только выйдет во двор, пальцы на руках и ногах тут же коченеют, потом дома с мучительной ломотой отходят, распухают, как переваренные сосиски, чешутся и лопаются... А дома скучно сидеть.

Главное, она не знает, что случилось, но Роальд теперь совсем не хочет играть с ней. Он теперь даже не рассказывает свои уроки или, что было в школе. Ему пошел двенадцатый год, он учится в четвертом классе, и Ада ежеминутно говорит: «флора, не мешай Роше!», «Флора, слушайся Рошу! Он старший». А Роальд на все про все отвечает: «Отстань!» или «Заткнись!» Правда, иногда он принимается за Флору и тогда это кончается ее слезами.

– Флорка, – невинно спрашивает Роальд, – я забыл, как звали принца?

И Флора гордо напоминает – Ада совсем недавно читала им «Принц и нищий».

– А вот если руки грязные, какой человек?

– Не чистый, – уже чувствуя подвох, хитрит Флора. – Нет-нет, скажи, если на место ничего не кладет, какой он, как надо сказать?

В конце концов флора говорит, и Роальд покатывается с хохота:

– Мама! Мама! Смотри, ой, не могу! Адуард и аккуратный! Ой, умереть от нее можно!

Ада тоже смеется и тоже говорит: «Умереть от нее можно!» И Флора, вдруг не стерпев обиды, прыскает на них злобой вперемешку со слезами:

– Ну и умрите! Умрите! Сдохните обал! Ножки протяните!

– Идиотка! – кричит Роальд.

– Прекратите! Набрались! Я из вас вышибу это! Только посмейте еще! – расходится Ада. Да уж лучше, когда Роальд вообще не обращает на Флору внимания. Тогда в доме, по крайней мере, тишина. Флора при Роальде даже стихи боится громко читать – опять он начнет издеваться... А в общем-то, это единственное ее занятие. Она знает наизусть великое множество стихов и когда читает, в точности повторяет услышанную по радио интонацию. Вот, пожалуйста:

«Я волком бы выгрыз бюрократизм! К мандатам почтения нету!»

Но стоит громко, так, что у самой начинается в ушах звенеть, произнести:

«К любым чертям с матерями катись...» – как с Роальдом опять истерика от хохота, а Ада опять кричит:

– Прекрати! Набрались!

На слух Флора хорошо запоминает. А вот читать совсем не может научиться. Медленно, еле-еле, по слогам составляются слова, никакого терпения не хватает. Куда лучше радио слушать или когда мама вслух... Потом, конечно, Флора научится, но никогда так, как люди читают в уме, а каждое слово беззвучно проговаривая, мысленно все-таки вслушиваясь в него... Читать пришлось учиться, когда стала очевидной невозвратность тихих, одиноких вечеров, а вместе с ними возможности, поныв, уговорить Аду взять книгу в руки: они навсегда ушли в прошлое, внезапно разрешившись шумом и теснотой, но этот шум и теснота куда как больше подходили к их сумрачному жилью, чем беспокойное томление троих в трех комнатах.

Все началось с бурного, очумелого звонка в дверь – но было как должное, как продолжение и ожидание конца войны закономерно, и все-таки на первых порах никто так искренне не обрадовался появлению Винокуровых, как флора.

– Вай! – закричала Ада, открыв дверь. – Люся! Откуда ты?!

– Ада! У вас фамилия – чистое золото! – Люся еще стояла в дверях между двух больших чемоданов, каких-то сумок и одеяльных тюков, а из-за спины ее пугливо выглядывала девочка Флориных лет и древняя-древняя бабушка. – Ада, эта сволочь даже не встретил нас! Представляешь?! Что?! Куда с вокзала?! Нашего дома в помине нет! Скажи, зачем он нас вызвал?!

– Хорошо, что ты стоишь?! Давай, входите! Давай сюда! Подожди, я помогу тебе! Потом расскажешь!.. Роальд, закрой дверь...

– Что рассказывать?! Хорошо я сообразила: адресный стол! Год рождения не знаю, слушай, анекдот: ты, оказывается, моложе меня! Я думала, мы ровесницы! Уговорила их: дорогие-золотые-бриллиантовые, Рикинглаз, говорю, одни на свете – других быть не может! Представляешь?! – Люся уже размотала с головы платок, и безумная копна полуседых, полужгуче-черных, взвившихся, как электрический звонок «зуммер», волос запрыгала в такт ее суматошным речам. «Что ты стоишь, мама?! Сядь! Мы пришли, понимаешь?! Это – Ада! Помнишь?! Ты Междумовых помнишь?! Наверху, там, где террасы были – там они жили, он еще всегда вино делал, помнишь, нет? Это его дочь – Ада!»

Люси́на мама от ее крика не села, а просто упала на стул, такая она была старенькая; казалось, ее можно в воздух поднять, если посильней дунуть, но, наверное, она плохо слышала, оттого Люся так орала. Руки у нее тряслись, она сцепила их замочком под подбородком, он тоже тряся, и она что-то шамкала беззвучным ртом.

– Совсем ничего не соображает! – хлопнула себя по лбу Люся. – Шутишь, Ада, девяносто один год! Где там соображать!

– Ада-джан, если приютишь нас, господь тебя наградит! Молиться о тебе буду, джанекес! – вдруг внятно, словно опровергая нахальство своей дочери утверждать, что она ничего не соображает, проговорила старуха.

– Что вы, бабушка Анаида, как можно иначе, не о чем говорить, – сказала Ада. – Флора, Роальд, возьмите к себе девочку, тебя как, я забыла, ах да, Норочкой зовут, покажи, флора, Норочке, где раздеться...

Когда-то Люся была Адиной бакинской подругой. Потом, в поисках счастья, судьба разбросала их и неожиданно вновь свела в чужом северном городе. Люся тогда только что родила Норочку, а Ада ждала Флору. Люся гордилась одесской красотой своего мужа, его щеголеватой формой инженера-путейца, трясла Аду за плечи и громко хохотала: «Ты посмотри на него, а?! Какие глаза! Умереть можно, да?! Шоколад „Золотой ярлык“, а не мужчина, правда?!» Аде показалась неуместной и неприличной Люси́на экспансивность, она отводила глаза, отметив про себя женственные черты ее мужа, его ненормально маленькие ступни и пухлые ладони с короткими пальцами. Ей не нравились такие мужчины. Когда началась война, Вене выдали бронь. Он ее не выпрашивал, она полагалась ему, но он обрадовался, возблагодарил судьбу за то, что она даровала ему шанс выжить. Разве он мог тогда знать, что шанс ему дарован самый шаткий, на край могилы приведший его даже раньше, чем это могло случиться на фронте. Может быть, в ослеплении надежды Веня начал пухнуть от голода быстрее и безнадежнее других.

Это знала Люся и рассказала Аде. Но история о том, как тот тихий, целиком подчиненный веселому Люси́ному напору Веня исчез, как занял его место яростно вцепившийся в остаток существования новый Веня, была и ей неизвестна.

О том, что того довоенного Вени нет, она догадалась по письмам, которые наконец разыскали ее в эвакуации. Полные полубезумных советов, что на что выменивать, что на месте продавать, что покупать на какой станции, каких-то намеков, иносказаний и поучений наподобие: «надо уметь жить, Люся, умным людям сейчас большие возможности есть, где глупый потеряет, там умный найдет, надо дела делать, железо ковать, пока горячо...» – они сообщали также о том, что он больше никакой не инженер-путеец, что всякая интеллигентность эта ему теперь ни к чему, она не кормит, а просто проводник, но зато на самой хлебной линии Ленинград – Таллинн. Люся говорила, что, наверное, он спятил, если мог думать, что пока он умирал в блокадном Ленинграде, она на курорте была: все вещи давно распроданы, о каких закупках могла речь идти; и потом этот бешеный азарт, с каким он гонялся теперь по своей хлебной

линии, ни копейки денег им не выслав, не встретив их; и теперь даже не знал, где они и что с ними.

Но через некоторое время Веня нашел их. Он появился и перепутал все их отлаженное спанье: Флора с Норочкой, Роша с Адой, бабушка на Рошиной кровати, а Люся на полу, на матрасе; пришлось в маленькую комнату набиться всем пятерым, а Люсю с мужем уложить на диван в большую. Правда, Аду переворачивало от брезгливых мыслей: «Тьфу, свинья жирная! Гадость какая! Лучше сдохнуть одной, чем с таким лечь! На черта он ей сдался!..»

Однако на утро выяснилось, что это Люся ему «на черта сдалась». Потом Ада первая высказала предположение, что у Вени в Таллинне есть женщина. Вообще у Ады было свойство всегда предполагать худшее. Может быть, оно вытекало из простого житейского расчета: если окажется, что дела обстоят лучше, никто за радостью не заметит твоей ошибки, а если окажешься права, возможность сказать: «А что я говорила! Ну?» – поставит тебя несколько выше случившейся беды и простофилей, ее не ждавших.

Но где было Аде предположить худшее худшего: предположить, что и она, и та женщина в Таллинне, в квартире которой он просто прятал деньги и вещи, и Люся, и все человечество вообще перестало для бешеного Вени иметь различия пола, внешности, возраста, а было только одним поточным партнером в азартной игре, где ставкой однажды оказалась сама его жизнь.

До этих бесовских тонкостей Аде не было дела, они лежали за пределом ее житейских выкладок, и никто бы о них не вспомнил, если бы не случилось бы той истории с сундуком...

Детство! Кто может в середине жизни сказать: «у меня не было Детства», тому неоткуда ждать помощи на остатке пути. Вместе с человеком рождается на свет его детство, все звуки его, горькие, и нежные, и редко только горькие, и никогда – только нежные, но забыть их – значит жить с оглохшим сердцем в груди.

Однажды потом на убогом, разочаровавшем однообразием и несхожестью с легендами, азиатском рынке Флора вдруг наткнулась на распродажу обитых раскрашенной латуной свадебных сундуков. Все любовались солнечной игрой на их боках и крышках, а она один за другим открывала и закрывала огромное множество их, механически-сосредоточенно, словно втайне на что-то надеясь, и спутники ее дивились: «Да ты что, уж не потянешь ли в Ленинград это расписное чудище?!» – «Нет, нет, не потяну... они не то, совсем не то...», – говорила Флора, и никто ничего не понял... Легкие и нарядные, они сверкали, переливались, но были немые, а тот мрачный тяжелый сундук имел трепетный, нежный, незабываемый голос... Голос Флориного детства...

Это был большой монастырский сундук, оковывающее его железо делило на равные квадраты всю изукрашенную полуистершимися смутными ликами святых поверхность, только кое-где продолжали гореть золотые нимбы, да слабое сияние разливалось вокруг поблекших свечей. Пока человек шесть работяг, тужась до посинения, перли его на четвертый этаж, Веня, потея просто от удовольствия, внушал Аде: «Ничего не поделаешь, Ада, дверь придется с петель снять, но ты не бойся, овчинка выделки стоит...».

– Хозяин, – безнадежно скулил мужик, с которым расплачивался Веня, – надбавь хоть трюльник, будь человеком...

– Нечего, нечего баловать, так хорошо, – Веня потирал пухлые ладошки и, растопырив ненормально короткие пальцы, учил:

– Деньги надо уметь делать. Так, за здорово живешь, они на голову никому не сыпятся...

Потом, когда работяги ушли, он похвалил Аду:

– Молодец, очень умно делаешь, что не топишь здесь! – и по-хозяйски обвел острым взглядом пустую комнату, часть которой занимал теперь сундук.

В комнате и в самом деле стояла стужа, просто не напасть было бы дров отапливать ее, и Ада всегда приказывала детям одеть валенки и пальто, пока они играли здесь в мяч. Бенина похвала сразу объяснила Аде, зачем ему понадобился этот сундук – он собирался дер-

жать в нем продукты. Дети же с любопытством разглядывали его, еще не подозревая о самом главном, но когда через несколько дней, недовольный их присутствием, стараясь круглой спиной заслонить от их взглядов несметно богатую добычу, Веня склонился над сундуком и большим ключом с кружевной головкой провернул в одном замке, потом в другом, потом медленно стал приподнимать тяжелую крышку – им открылось настоящее чудо: тихая нежная музыка, маленькие колокольчики, пение сказочных птиц рассыпалось-разлилось по пустынной голой комнате, вмиг обратя ее в кущи райского сада.

Они не поверили ушам своим, замерли от восторга, все трое, разом, одновременно сомлели, открыв рты в изумлении перед тайной рождения этой хрупкой, рассыпающейся мелодии...

Отныне дети не будут спать, ожидая приезда Вени, единственного и безраздельного властелина дивных звуков. Вздошные, они будут выбегать навстречу ему, а он, нагруженный мешками и сумками, подозрительный, недовольный их любопытством, будет гнать их от себя. Ибо не нужны ему эти проныры-свидетели, дармоеды, объедалы его.

Ада сразу сказала ему:

– Знаешь что, можешь свою дочь гонять, а мои дети у себя дома, и их есть кому воспитывать как-нибудь без тебя...

И то, что объедали его, тоже было неправдой. Веня прятал в сундук банки меда, шматы сала, мешки муки, сахар, аккуратно, в особые гнездышки и ящички раскладывал по десяткам яйца, потом вынимал штук пять, мучительно щурился, тер ладошкой щеки и говорил:

– Люся, вот что, Люся, когда закончу дело, тебе тоже что-нибудь дам, и ты, Ада, тоже кое-что по твердой цене возymeешь...

Это значило, что в ближайшие два дня в дом придут какие-то темные люди – Веня вел оптовую торговлю; а то, что останется от перекупщиков и не может долго храниться, он выдаст Люсе. Аде он продавал яйца, масло и, если у нее хватало денег, еще кое-что по цене, в твердость которой она никак не могла поверить. Но они с Люсей жили одним котлом, а Веня говорил: «Я здесь транзитом, должен сам о себе заботиться...», – и выдавал Люсе пяток яиц и кусок сала на яичницу. Если один желток случайно расплывался, Веня отпихивал сковородку так, что на скатерть выплескивался жир, и высоким пронзительным голосом кричал:

– Дура! Безрукая! Сама ешь! – — но тут же двигал сковородку назад.

Он ел, склонившись низко над пищей, далеко выставленными на стол локтями, изобразив что-то вроде крепостного вала вокруг своей еды, толстыми пальцами макая булку в сало, чмокая, захлебываясь, тут же ложкой заправлял в рот мед из банки, – и все двигая к себе, подгребая то мед, то булку, то еще что-нибудь «свое». «Сумасшедший, – глядя на него в эти минуты, думала Ада, – Сумасшедший он все-таки...»

Ей даже ничего не надо было говорить своим детям, они и без того, как только Веня садился за стол, уходили в другую комнату. А Норочка иногда оставалась и, подперев кулачком голову, задумчиво глядела на отца. Наверное, просто потому, что это был ее отец и она скучала по нему, наверное, она любила его, но у Ады сердце разрывалось смотреть, как он ест и ему даже в ум не придет спросить у ребенка: «А ты не хочешь? Не покушаешь со мной?»

«Сумасшедший», – думала Ада.

Норочка была тихая, неразговорчивая девочка. По одной стороне ее лица разлилось багрово-синее родимое пятно, но стоило ей повернуть голову влево, как сердце вздрагивало от удивления: тонкие точеные черты – «прямо камей», – говорили взрослые. У Роальда и Флоры на Норочку сразу получился разный взгляд: сколько бы они ни смотрели на нее, каждый из них всегда видел одну половину ее лица. Роальд всегда смазанную, залитую иссиня-багровым пятном, Флора же – непобедимо красивую. Еще инстинктивно, не отдавая себе отчета в этом, но твердо и бесповоротно Роальд провел черту между собой и Норочкой, и за эту черту, как связанная с ней порукой женственности, попала и Флора. Сначала она не знала, что ей

делать, как обращаться с молчаливой, будто замороженной девочкой, о чем с ней говорить, в какие игры играть? Но Норочка все жалась к бабушке Анаиде и выход нашелся сам собой: надо было только притулиться с другого бока, так уютно устроиться, как будто это совсем и твоя бабушка, и слушать ее тихие разговоры.

Горбатыми пальцами перебирая четки, бабушка говорит, обращаясь неведомо к кому: «Ой, джанекес, ты же знаешь, такие старухи, как я, уже не врут, да ты же сам все видишь, как тебя обманывать! Я готова была умереть, я уже все приготовила на свой смертный час... А сколько я копила, каждую копейку берегла, разве я могла на них надеяться, что они меня похоронят, как люди, ты же сам видишь, зверь, а не человек, а у этой дуры вечно копейки за душой нет... Так что? Разве я виновата, а? Разве я виновата, что все пошло прахом? Но теперь, когда ничего нет, ни дома, ни денег, когда все пропало, разве, дорогая душа, я могу сейчас умереть? Вай! Не знаю, научи меня, что делать, и я послушаюсь твоего совета...»

Флора замирает от счастья, что-то чудное открывается ей в этих речах и, главное, в том, что можно кого-то спрашивать, умереть или нет! Поразительно! Наверное, он, дорогая душа, отвечает, что нельзя, потому что бабушка Анаида качает головой, на ее лице, обугленном старостью, вдруг загораются хитрые голубые огоньки, и она говорит:

– Не знаю, ой, не знаю! Теперь уж и не знаю, когда помру...

– Мама, мне бы твои заботы! – кружась по комнате, смеется Люся.

Как всегда, она что-то ищет. Мотается по квартире в одной черной комбинации, всегда в черной, потому что она у нее одна и платье у нее одно, и она его вечно зашивает, сидит у печки поближе к огню, черные ляточки комбинации врезаются в ее белоснежные пастозные плечи, и эти плечи, и два бугра, видные в разрезе рубашки, являются миру остатками былой роскоши. А Люся сидит и штопает свое единственное платье. Или мечется в поисках его. Она работает на фарфоровом заводе, расписывает чашки, ехать туда надо через весь город в холодном трамвае, но Люся всегда опаздывает, потом бежит кувыркком и в трамвае долго не может отдышаться, так что какое-то время ей еще жарко. Один раз она так вот выкатилась из дому впопыхах, потом минут через сорок вернулась с криком и диким хохотом:

– Ада, ты только посмотри, как я ушла! Ты такую мишугине видела?! Я же почти до завода доехала! Сижу в трамвае вот так:

расставила ноги, вижу, на меня все смотрят. Когда раньше смотрели – меня не удивляло! Слава богу, ты знаешь!.. Но что на меня сейчас смотреть – не понимаю! Но гордо так сижу. Ха-ха-ха! Ой, не могу! Хорошо мне одна женщина говорит: «Дама, застегните пальто – вы же в одной рубашке!» Представляешь?! Нет, ты рожу мою представляешь?!

Как все смеялись тогда!

А бабушка Анаида качала головой, повязанной низко по лбу приподнятым над ушами платком, и полусердась-полупечалась говорила:

– Дура, вай-вай-вай! Какая дура моя дочь! А не моя – так и я бы смеялась...

– Ладно, мама, я – дура! А ты, конечно, умная! Ада, а ты спроси ее, какая она была умная, когда к любовнику в Тифлис уехала?

– Ой, не могу, ты что, Люся?! – всплескивает Ада и зыркает глазами на Флору с Норочкой.

Но Флора с Норочкой ничего – они и ухом не ведут. Они отсмеялись вместе со взрослыми и теперь заняты своим делом. Вернее, их руки заняты и внимание как бы поглощено – больше всего Флоре не хочется, чтобы ее прогнали сейчас, и она изо всех сил делает вид, что ничего нет на свете интереснее игры в «Акулину».

– Нет, нет, ты ее спроси! Ну что ты смеешься, мама?! Ада же не знает, какие ты номера выкидывала!

Трясется худенькое тело бабушки Анаиды. Какая она старенькая! Флора, например, никогда сразу не может понять, смеется она или плачет.

– Ты представляешь, Ада, у нее уже Артурик был, когда из Тифлиса князь Михвадзе приехал...

– Уж прямо князь...

– Да слушай, натуральный князь – такой красавец!..

– Что ты мне говоришь?! Я что, не знаю грузин?! У них так: корова есть – уже князь, баран есть – уже князь, – не к месту проявляет свой скептицизм Ада. – А красавцем, это я не спорю, он мог быть...

– А я тебе говорю – князь! Ты слушай: сама увидишь! Он вокруг нее, как сумасшедший, ходил, да, мама?! Грозил, что застрелится! Потом в Тифлис уехал, сказал: не приедешь – покончу с собой!

– Молодая была, еще могла жалеть, – вступает за себя Люсины мать...

– Да – жалеть! Мужа бросила, Артурика бросила – все бросила, к нему в Тифлис уехала! Ха-ха-ха! А что там было! Мама, скажи, мама, что там было?! – Люся заливается совсем непонятно к чему.

– А что было! Приезжаю, Ада-джан, чтоб только он жить остался, а он, знаешь, где? Он в больнице – у него сифилис! – от смеха у нее высккивает на верхнюю губу единственный зуб.

Флора ничего не может понять и не выдерживает:

– Бабушка, а что это – сифилис?

– Замолчи! Развесила уши, дурочка!

– Ай, детка, болезнь такая, вроде кори, чтоб он в аду горел!..

Корь – детская болезнь. И Флора, и Роальд болели ею. Был страшный жар, и не могли смотреть на свет – все было горячим, оранжевым... Это и значит гореть в аду?

– Бабушка, значит, мы с Рошей тоже в аду горели?

– Что ты, деточка, зачем такие слова говорить! Детки безгрешные, их Господь Бог к себе в рай призывает, как моего Артурика...

– А что это – рай, бабушка?

...Аде уже некогда, она уже громыкает на кухне кастрюлями и не слышит, о чем беседует старуха с детьми. Она думает о странно долгой жизни, в которую вмещается так много горя и так мало радостей... Ада не знает, зачем нужна такая долгая жизнь, может быть, затем, чтобы хватило времени замолить грехи, может быть, в старости приходит к человеку святость, как в детстве?... «Но нет, – легкомысленно думает Ада, – мне не надо так долго жить, не дай Бог, не хочу!..»

И Флора в это время думает: «Хорошо бы умереть пока маленькая! Вот бы умереть, и чтобы о тебе все плакали! Долго-долго, как бабушка Анаида о своем Артурике... Если до взрослости дожить, обязательно грехи будут, и тогда бог не позовет тебя в рай, а если сейчас умереть, он сразу сделает тебя ангелом, и полетишь к небу такая хорошенькая, в кудряшках, с крылышками, а там у него в раю все голубое и много-много детей есть, и может быть, там сразу встретишь Артурика – он, как Роша был, совсем такой же мальчик, и можно подружиться с ним... А вдруг, а что если у тебя уже есть грехи, ну, конечно, есть, страшно все-таки...» Но сладостное упование уже жило в сердце ее, а воображение уже не могло отказаться от этих бесконечных представлений умирания и счастливого превращения в ангела...

...Флора сажала закутанную в рваную простыню Норочку на стул в другом конце комнаты, приказывала ей быть Богом и в нужный момент таинственно-загробным голосом сказать: «Лети ко мне, ангел маленький!» – Флора сама показывала как; она же, Флора, ложилась на диван умирать, сначала металась по подушке, стонала, приподнималась, хрипела, потом, откинув спутанные волосы, театрально разбрасывала руки и выпускала слабый вздох – прости... И тут раздавался замороженный вялый голос Норочки, но Флоре уже было все равно, она уже вошла в роль и теперь плавно, как в замедленной киносъемке, подымалась с дивана. И сколько угодно народу могло быть в комнате, ей никогда никто не мешал – она как будто

переставала видеть и слышать, что творится вокруг. Лихорадочный румянец заливал бледное лицо, исступленным блеском зажигался взгляд раскосых глаз и, раскинув прутьики рук с растопыренными распухшими пальцами, она неслась навстречу испуганной, замершей Норочке, все больше взвинчивая, заводя себя единственным: «Лечу! Лечу к тебе, Боженька!» И ей казалось, она и точно летит, потом она никогда и никому не рассказывала об этом, но на всю жизнь у нее сохранилась твердая уверенность, что тогда она действительно отрывалась от пола и немного, ну хоть совсем немного, но пролетала над землей...

– Прекрати, Флора! Перестань! Нельзя так играть, – сердилась Ада. – Нет никакого Боженьки!

– Есть! – истошно, горя фанатическим жаром, выкрикивала та.

– Глупости! Чушь! – топала ногой Ада. – Нет никакого Боженьки! Кто тебе сказал?

– Есть! Есть! Бабушка Анаида сказала! Мамочка, мамулечка, купи мне крестик, – Флора останавливалась, чтобы в сотый раз повторить свою просьбу.

И тут бабушка Анаида, неустанно перебиравшая свои четки, треснувшим, как выпавшая из рук чашка, голосом говорила:

– Ада-джан, купи ребенку крестик!

...Однажды Ада пошла на барахолку купить себе пальто подешевле и принесла оттуда дочке Залмана Рикинглаза крестик на медной цепочке. Это был не настоящий крестик, а выпиленное откуда-то распятие, на котором мучился худой Христос со смазанным лицом. Флора смотрела на него и не узнавала. Ей были известны совсем другие его черты. Она нашла их на потолке детской комнаты, среди образовавшихся трещин отыскала она профиль, и еще не думая, не подозревая ни о чем, взглядом каждый вечер тянулась к его взору, такому ясному, доброму, куда-то совсем не на нее глядящему, но открыто-призывно...

Потом Флора забросит крестик, забудет как она играла с Норочкой, а через двадцать лет, когда отыскивать на помойках старые вещи станет модой, Залман однажды пойдет выбрасывать мусорное ведро и принесет находку – серединку от складня, в центре которого будет не хватать кем-то аккуратно выпиленного распятия.

И среди всякого своего заветного хлама Флора отыщет тот самый крестик, и он точно встанет на место... Это будет удивительно всей семье, а Ада будет ахать и охать вместе со всеми, но так и не додумается, даже себе самой не признается, что тогда, четверть века назад купила его Флоре только потому, что в душе у нее было точно такое же приготовленное ему место... место, где гнездится страх... и мольба... и благодарность... Но почему-то вспомнится ей далекая Астрахань...

В ту зиму Роальд много и захлеб читал. Он научился маленькой хитрости – на раскрытую книгу укладывал тетрадь с начатым домашним заданием и двигал ее сначала вниз, открывая строчки на книжной странице, потом снизу вверх – так было здорово удобно. Когда Ада входила в комнату, Роальд тут же макал вставочку в чернила. Ада только успевала иногда заметить: «Роша, опять вставочку грыз?» – а про книгу ни разу не догадалась. Не имея, как другие мальчишки, пристрастия к чтению исключительно про индейцев или только про войну, только про шпионов, Роальд читал все без разбора – все, что удавалось выхватить в школьной библиотеке или достать у товарищей. Прежде всего, его увлекал самый процесс чтения – отгораживал от реального мира, от всей домашней сутолоки, спасал от бессмысленных вопросов и тягучих приставаний. Стоило ему закрыть книгу – и он неминуемо становился участником хода жизни, в которой не было проведено никаких границ между добром и злом, между важным и пустяковым – все затертое, обезличенное и сам он, Роальд, в этом всем – ничто. И тогда – это было единственное, что объединяло прочитанное, независимо ни от каких литературных достоинств, – тогда он поражался тому, как все значительно в книгах, все, что говорят друг другу герои, как весомы их взгляды и жесты, как много значат для окружающих не только их поступки, но и интонации: «Он говорил, и в голосе его звучала горечь...» – да разве чтобы он,

Роальд, ни сказал, кто-нибудь из окружающих заметит горечь или сладость в его голосе?! Разве в жизни взгляд, жест, да и сами слова что-нибудь решают в судьбах людей?..

Нет, они роняются так, ничего не знача, не имея цены. Но он, Роальд, сумеет заставить тех, кому придется иметь с ним дело, зависеть от выражения его глаз, он вернет словам их утраченную стоимость, поступкам – их непреложное значение. И, упражняя себя, он легко доводил до слез Флору, до исступления – Аду, а потом, когда уже достигнута была цель, радостно чувствовал, что вот стоит ему сейчас сказать: «Флорка, а знаешь?..» – вложив ноту доброжелательности и примирения в эти слова, и тотчас же она просияет ему навстречу безнадежно-глупой готовностью, а Ада, зашедшаяся в крике, подступившая к нему вплотную с уже занесенной рукой – секунда и влепит затрещину, – вдруг осекается под его прищуренным взглядом, какая-то бездна неизвестных ей, пугающих чувств, горящих в глубине его мрачных зрачков, останавливает ее, и потом она шепотом говорит Люсе: «С ним очень осторожно надо: что за характер! Не мой, и не Залмана, не знаю, в кого он такой...» А ему всего-то и нужно – движение души его замечено, оценено по достоинству, и теперь в груди что-то оттаивает, заливают мягким теплом сожаления, и он уже готов проявить и любовь свою, и нежность.

И, наверное, потому, когда Ада отчаялась выиграть неравный бой с насекомыми и решилась, наконец, отвести Флору в парикмахерскую, Роальд сам изъявил желание сопровождать их на сию волосяную Голгофу.

...Всю зиму боролась Ада за Флорины косы. По волоску перебирала она тонкие каштановые прядки. У Флоры начинала болеть шея, голова совсем не держалась на ней, Флора вертелась и ныла, Ада сердито дергала ее за волосы, раздражалась, ругалась, но в конце концов и она и Флора покорились, и воскресным апрельским утром, все втроем, еще до завтрака, дружно вышли из дома. И щедрость, с которой Роальд распространял на них свою нежность, готовность быть, если не главным участником предстоящей драмы, то во всяком случае стойким партнером, не имела в то утро границ, подобно разливающейся весне. С какой особой, ласкающей сердце взрослой доверительностью обсуждал Роальд с Адой вопрос о скором конце войны – Господи, да что еще нужно ей, как не это сознание, что сын уже такой большой, такой умный, так хорошо может рассуждать обо всем! И даже когда Флора, безмерно удивляясь, как это здорово Роша может говорить с мамой – так, что она его до самого конца дослушивает и отвечает как взрослому – ей это никогда не удастся – хитроумно решила для того, чтобы все-таки встрять в беседу, немножко прибедниться умом и просюсюкать: «Мамочка, а капутуляция от слова „капут“, да?» – даже тогда Роальд не изменил великолепному настрою своей души, и, стиснув ладошками ее щеки, взял да и чмокнул в зажатый и вздернутый между ними нос!

– Мама, какая она у нас умничка, ты посмотри, что придумала! – он чувствовал, как в нем самом отдается радостный трепет этих слабеньких женских сердечек...

И упали на цементный пол парикмахерской мягкие невозвратные младенческие пряди, и довольная собой парикмахерша все твердила:

– Вот и хорошо, и еще лучше, и летом не жарко будет... И Флора с ужасом зажмурилась, увидя в зеркале худущую длинноносую девочку с маленькими буравчиками глаз...

А дома их ждал неприятный сюрприз – опять объявился Веня и спал теперь в большой комнате на диване. Но Рошино покровительство все еще согревало и Аду и Флору – сегодня их тройственный союз был прочно отгорожен от посторонних вторжений. Ада повязала голову Флоры ситцевым треугольничком, красным в белый горошек, и весело напевая, отправилась на кухню, а Роальд с ужасно таинственным лицом поманил Флору за собой в пустую комнату и там, вдруг резко обернувшись, предстал перед ней с потрясающим предложением – оно даже не было выражено словами, но в руках Роальда Флора увидела тот самый заветный ключ с кружевной головкой! Нет, ничего особенного Роша не сделал, он просто достал его из кармана Вениного замусоленного кителя, что висел на стуле в большей комнате. Тут Флора не выдержала и тоненько спросила:

- А можно Норочку?
- Зови! – кивнул Роша.

Вот и все – вот все, что произошло в преддверии рая и ада. Стоя на коленках перед сундуком, Роальд один за другим провернул замки и начал открывать крышку. Сначала что-то тихонько зашелестело, будто тысяча бабочек взмахнули крылышками, потом качнули головками легкие колокольчики, им ответили: трим-тирлим – птички, – прочирикали, улетели, и полились ручейки, веселые чистые роднички, то сливаясь, то перебегая друг другу дорожку, шевеля сыпучий золотой песок...

Так чудно было рождение этой музыки, так завораживало нарастание ее, она наполняла комнату; и флора невольно опустилась на пол, обратя лицо не в сторону, откуда исходили звуки, а в пространство, по которому они разливались, и воображаемые бирюзовые островки, окутанные облачками сахарной пудры, один за другим плыли перед ее глазами... И замирали звуки, сменяя веселое журчание легким шелестом, и тогда Роша опускал крышку и что-то новое появлялось в мелодии, – казалось, маленький лесной народец рассыпался дружным смехом и не успевала крышка коснуться сундука, не успевал замереть последний смешок, как Роша снова открывал – и изумительное, волшебное, заключенное как раз в этой непрерывности, начиналось сначала...

И очень даже может быть, что и Ада, и Люся все слышали, но может быть и их скутали призрачные видения, а может быть они решили, что Веня проснулся и колдует над своим сундуком, может быть, даже решили, что сегодня и Веня так добр, что развлекает детей, но Аде, например, и в ум не пришло бы испуганно вздрогнуть от неприятной догадки, потому что если ее доверие к детям и имело границы, то они лежали бесконечно далеко от тех, что были нарушены... Вздрогнул, однако, Веня. Вздвинченный, красный, как будто ему соли на хвост насыпали, влетел он в комнату как раз в тот момент, когда Роша только что опустил крышку и уже приподнимал ее опять.

– Вор! – крикнул Веня. – Где взял?! Ада! Люся! Смотрите! Смотрите на них! Я тебе покажу, выродок! – и не успели Ада с Люсей вбежать в комнату, как Веня вырвал ключ из рук Роальда и лихорадочно вертел им в замках.

– Вор, Ада! Кого воспитала. Ада!? На свою шею вора растишь! Все балуешь! – кричал он, захлебываясь, брызжа слюной, и, не смея все-таки ни Роальда, ни Флору, вдруг изо всей силы ключом ударил по голове Норочку. Норочка даже не успела сморщиться, но в следующую секунду уже голосила неестественно громко. И не поняв толком, что же произошло, но твердо уверенная в своей ненависти к нему, Ада истошно заорала:

– Сволочь! Ребенка бьешь! – Выбросила высоко вперед ногу и попала точно в пах.

– Ада! – Веня зажался, скрючился, повернулся задом к ней, и Ада тут же дала ему ногой в зад.

– Гадина! Вон из моего дома! Вот тебе! Вот тебе! – она вцепилась в его спину, трясла, била ногами и кулаками, и выпихнула его за дверь.

– Люся! Люся! Помоги мне! – прикрывая ладонями голову, кричал Веня.

– Люся! Мне, мне помоги! – кричала Ада. – Роальд! Открой дверь! Я его вышвырну!

– Сумасшедшая! Люся, что она делает?!

– Ты меня будешь помнить, гад! Я сумасшедшая, чтопустила тебя!

И Роальд уже откинул крюк на дверях, и, зачем-то сорвав платок с головы, потрясая им в воздухе, патлатая, как ведьма, бабушка Анаида кричала:

– Проклят будь! Проклят будь!

А Люся все стояла окаменевшая, но неожиданно взъярилась и с совершенно нелепым криком: «Иди! Иди к ней! Разве ты мужчина?! Тряпка давно!» – бросилась и помогла Аде.

Веню выкинули на площадку.

Он звонил, стучал в дверь кулаками.

– Ада! Пусти! Пусти меня, дура! Сумасшедшая, под суд пойдешь! Тебе не пройдет так!

– Я под суд?! – у красной, запыхавшейся Ады даже глаза на лоб полезли. – Вот что, Люся, ноги его больше на мой порог не встанет! Как хочешь. Или сама уходи... А сундук его, знаешь что?.. Не знаешь, да?! А я вот знаю! – и Ада схватила лежащий между дверьми топор.

– Иди, подай на меня в суд! Иди! Иди в милицию! – и Ада с яростью, сообщившей невероятную силу ее хрупкому телу, начала выламывать замки. Она просовывала острие топора между крышкой и живой плотью сундука и жала на топорнице. Что-то стонало и всхлипывало, охало, бренькало внутри его, а Ада тужилась, налегала всем телом и, наконец, один за другим вырвала с мясом оба запора. Должно быть, Веня все слышал за дверью. Он вдруг замолк, потом задрожали лестничные перила, и он зацокал подкованными сапогами. Наверное, он бежал на свою хлебную линию проситься в рейс, чтобы быстрым, артистическим усилием восполнить неожиданные убытки. Ведь говорил же он Люсе, когда та через несколько месяцев все-таки пришла навестить его в тюрьму: «Люся! Выручай меня, Люся! Там люди дела делают, а я здесь сижу!»

А тогда глухо хлопнула о стену крышка, и в наступившей мгновенно тишине Люся покорно стала помогать Аде выгружать продукты. Но Ада вдруг разнервничалась, начала задыхаться, уже прерывисто еле-еле проговорила:

– Норочку... маму корми... Презирать буду, если хоть... крошку ему отдашь. А мне... ничего не надо... – и, повернувшись спиной, трясущейся не то от надвигающегося приступа, не то еще от чего-то, ушла в комнату.

И Люся, тоже остановившись на полдороге среди разбросанных на полу мешков с крупами, мукой, среди банок и свертков, опустила руки и заплакала. Потом утерла лицо, пошла за Адой, мимоходом печально взглянула на себя в зеркало и села напротив. Слышно было, как в другой комнате скрипит кровать под бабушкой Анаидой, как всхлипывает во сне внезапно заснувшая после истерики Норочка, и Адино дыхание повторяет, передразнивает скрип и всхлип, и Люся, подперев голову рукой сказала:

– Проклятая жизнь. Ада...

– Как детская рубашка, – обрадовалась та, – коротка...

– И обосрана, – заключила Люся, и обе они рассмеялись. И Ада тут же скопилась на Роальда и Флору – они, как выпавшие из гнезда галчата, испуганно ждали, что же будет дальше. Но теперь уже ничего страшного не произошло. Только...

– Шли бы гулять, – приказала им Ада.

В другое время бритая Флора ни за что бы не пошла, но сейчас сообразила, что малейший каприз – и Адин гнев, чего доброго, вспыхнув снова, уже обрушится на их головы, так что лучше убраться. Может быть, Ада сама хотела оградить их от себя, а может быть, просто ей надо было побыть с Люсей вдвоем и поговорить о том, о чем только наедине, только уже рожавшие детей женщины могут говорить, не роняя себя...

«Спас на крови», будто огромный кулич, выбитый из огромного ведра рукой гигантского ребенка, наивно украсившего его где травинкой, где лепестком, где подобранным цветным стеклышком, из песка слишком мокрого, основанием своим крепко стоял на земле, но по вершине растекся, образовав в облаках хаотичный затейливый ажур. Его израненные, выщербленные стены и зияющая из битых окон чернота запустения взрослому напоминали о недавних обстрелах, но на детей от них веяло средневековой тайной и загадочной романтичностью. И вместе с тем обилие выпавших из мозаик цветных стеклышек – лазоревых, пурпурных, золотых, – рассыпанных несметными сокровищами под ногами, и усиливало это романтическое впечатление, и создавало интимную близость к гигантским стенам: придавало всему месту, с одной стороны омываемому водами канала, с другой – затененному, отгороженному подступившим в самую близость Михайловским садом, особую свойственность – они могли ощущать это место специально приготовленным для них, для их одинокой самозабвенной игры.

Роальд любил приходить сюда один или с товарищем, но сегодня жизнь его была подчинена законам кровного родства – так уж заладился с утра день, у него даже мысли не возникало оставить Флору маяться во дворе, а самому убежать за его пределы. И теперь они кружили вокруг храма, ежеминутно наклоняясь и подбирая мозаику, и каждый раз восторг от находки сменялся тайным разочарованием – на земле стеклышко горело неподдельным драгоценным огнем, а в руках неизменно обнаруживало свою искусственность, и в сознание прокрадывалась практическая мысль о его бесполезности – особенно у Роальда; Флора еще могла радоваться просто находке, просто потому, что дома сложит их в коробочку, когда захочет, будет перебирать, разглядывать... Но Роальду вскоре надоело и он нашел другое развлечение: подойдя к большой черной двери, стал читать нацарапанные или начертанные мелом и цветными карандашами надписи. И Флора тут же потянулась за ним.

У храма четыре двери, с каждой из четырех сторон, большие, обитые почерневшей медью, они напоминали поставленный напопа Венин сундук – так же, как на нем, тускло поблескивали гравированные лики, сияния и старославянская вязь, но поверх всего они были густо испещрены слезными просьбами и мольбами. Кажется, будь их не четыре – все десять, и то не хватило бы места; и Роша сказал, что прошлый раз надписи были похожие, но другие – люди стирают чужие просьбы и пишут свои.

«Накажи, Господи, того, кто украл у меня карточки, и сделай так, чтобы он подавился отнятым у сирот хлебом...»

«Сделай так, Господи, чтобы вернулся Нюскин муж и набил бы ей морду за то, что она причинила мне...»

«Господи, сохрани отца нашего и верни нам его живым и невредимым...»

«Пошли, Господи, нам скорую победу над проклятым врагом нашим...»

«Господи, пошли мне жениха, хорошо бы офицера с орденами и медалями...»

Но больше всего ввелись во Флорину душу те просьбы, где одно менялось на другое:

«Возьми у меня здоровье, Господи, но пошли его сыну моему Николаю...»

«Пусть я, Господи Боженька мой, так и останусь старой девой, но продли светлые дни моей мамочке...»

«Отыми у меня... но дай...»

«Пошли, Господи... и пусть...»

Прошло множество лет, и взрослая Флора однажды специально подошла к тем дверям и прочла одинокую просьбу:

«Помоги мне, Господи, выиграть по лотерейному билету холодильник...»

Но тогда четыре двери, одна за другой, как четыре страницы книги прошлестели, и Флору потряс нехитрый торг – она сразу поверила, что просьбы, подкрепленные обещанием не быть, не сметь, поставить, отдать, предложением взять, лишить, обречь – более честные и вернее должны исполниться...

По дороге домой они с удовольствием обсуждали просьбы, касательные женихов и вообще всяких любовных дел. Роша говорил, что глупо про это писать, и, наверное, их пишут разные уродины и Флора поддакивала ему, но в душе соглашалась не вполне. Потом они ужасно хохотали, вспомнив, что одна даже адрес свой написала, будто Бог ей прямо на дом жениха по почте пошлет – им казалось это смешным и они пришли домой веселые и беззаботные, как положено хорошо погулявшим детям. Но перед самым сном Флора решила во что бы то ни стало попросить о чемнибудь Господа. И обязательно что-нибудь предложить ему взамен. И это «что-нибудь» она искала в пределах своей маленькой жизни, перебирала ее изъязы и не нашла ничего более стоящего, как искалеченную сундучную музыку и свою бритую голову – и то и другое вздымалось на вершинах одного дня и не давало ей покоя. Но что на что обменять – она не могла решить: конечно, важнее была собственная голова, но с другой стороны: как могут не отрасти волосы? Лукавство ума подсказывало: главное предложить, а принять или

не принять жертву – это ОН сам решит; но кто знает, может быть, починить музыку очень даже можно – не сегодня, конечно, когда взрослые не отошли еще вполне, но завтра, к примеру, подойти и попробовать распрямить искореженные металлические зубчики, что виднелись, когда Ада вырвала крышку, – и вот тут-то, несомненно, нужна помощь Боженьки, без нее и надеяться нечего. Но можно ли предлагать, заранее рассчитывая на благородный отказ, или, если самой очень-очень поверить, что в самом деле согласна – ОН не догадается? Нет, Флора не могла прийти к решению. И так ни на чем не остановившись, она легла в постель и пока не погасили свет, поторопилась среди трещин на потолке найти Того, к Кому вознесет свою просьбу и Кто, может быть, вразумит ее. Однако случилось странное: она мучительно щурилась, потом резко открывала глаза, опять щурилась и не находила того, что столько раз отыскивалось легко и привычно. Как на картинке, где среди обилия веток и облачков надо увидеть зайчика и охотника, и стоило только раз разглядеть их – перевернутого вверх тормашками среди листьев на дереве зайца и нелепо застрявшего в облаках охотника, и потом уже всякий раз, глядя на картинку, так и видишь никакие не облака и листики, а именно охотника и зайца – так и тут всегда четко вырисовывался немного вычурный торжественный профиль с чуть вздернутым подбородком, обрамленным курчавящейся бородой. Но сегодня никак, ни за что не найти, Флора впивалась взглядом в кружева трещин, пыталась расплести, распутать их, в конце концов догадалась, что их прибавилось, и новые, неожиданные, а впрочем, вполне естественно появившиеся, все смешали, спутали и исказили – но стало отчего-то нестерпимо грустно, обидно, напоззло на душу густое недовольство собой, и Флора заснула с тяжелым сердцем...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.